Проф. П. Н. Сакулин.

НА ГРАНИ ДВУХ КУЛЬТУР.

И. С. ТУРГЕНЕВ.

Издание Т-ва „МIРЪ“.
Москва. Знаменка, 9. Телеф. 1-37-31.

Проф. П. Н. Сакулин.

НА ГРАНИ ДВУХ КУЛЬТУР.

И. С. ТУРГЕНЕВ.

Я, насколько хватает моего понимания, вижу трагическую сторону в судьбах всей Европейской семьи — (включая, разумеется, и Россию).

Из письма Тургенева к Герцену от 25 ноября 1862 г.

Издание Т-ва „МІРЪ“.
Москва — 1918.

Понять психологию Тургенева в свете великой европейской драмы—вот главная задача настоящей книжки. Первый набросок ее основной идеи дан мною еще десять лет тому назад, в статье „Художник эпохи перелома“ (Вестник Воспитания, 1908, № 5). Теперь статья эта является в совершенно переработанном виде.

Думаю, что избранная мною тема представит известный интерес для читателей, не только потому, что книжка выходит в юбилейные дни Тургенева, но и потому, что мы сами и притом ярче, чем когда либо, чувствуем всё величие и всю остроту современной социальной трагедии.

На грани двух культур.

И. С. Тургенев.

(28 окт. 1818 г.—22 авг. 1883 г.).

I.

На грани.

Да, мы—на грани двух культур, на роковом рубеже двух миров.

Мы сознаем это своей мыслью, чувствуем—своим сердцем. Это не призрак, который только сегодня родился в нашем воспаленном воображении, и который исчезнет завтра. Это не иллюзия, навеянная нашей социальной революцией. У нас более чем достаточно оснований не верить в то, что торжество социализма уже обеспечено, хотя бы и в пределах одного русского „оазиса“. Прочных достижений еще нет, и, вероятно, долго не будет. Может быть, нас ждут самые суровые разочарования, вплоть до реставрации прежнего режима. Так бывало в истории много раз. Но всё это нисколько не изменит общего смысла современных событий.

История человечества, рассматриваемая телеологически, является непрерывной борьбой за высшие формы жизни. В далеком прошлом мы уже насчитываем несколько погибших цивилизаций. Из них некоторые достигали даже значительной высоты культурного подъема. Такова античная, греко-римская цивилизация, уступившая свое место христианской культуре Европы. Культурно-исторические пласты продол-

жают наслояться один на другой. Исканиям человечества нет конца. Люди уже создали богатую внешнюю культуру. Гордый своей мощью, человек преобразовал лик земли, покорил время и пространство, победоносно поднялся под самые облака. Но земля не примирена с небом. Культурное человечество попрежнему мучится сознанием, что великая неправда царит в его жизни. Люди не могут жить без свободы, без любви, без правды. Человеку хочется сбросить с себя тяжесть, которая пригнетает его к земле и мешает ему видеть солнце.

С конца XVIII в. европейская история принимает исключительно тревожный характер. Европа похожа на огромный резервуар, под которым разведен сильный огонь. Вода кипит, бурлит. Миллионы частиц— в беспокойном движении. Европа не раз конвульсивно содрогалась от невыносимых мук и страстными порывами пыталась ускорить ожидаемую развязку. События 1789, 1830, 1848, 1870 гг. и ряд последующих вплоть до наших дней не что иное, как звенья одной непрерывной цепи, внушительные симптомы одного и того же процесса, вызванного глубокими аномалиями европейской жизни.

Великая драма началась. Мы не знаем, сколько в ней будет актов, и едва предугадываем ее финал. Мы сами действующие лица пьесы. В этом наше счастье; в этом же—источник наших мук. За голубой дымкой будущего людям чудятся новые небеса и новая земля.

Мысль стремится разгадать грядущее и определить дорогу, которая ведет в царство искомой правды. На почве, взрыхленной страданиями многих поколений, вырос социализм, как общественная идеология. Не случайно собрал он под свое знамя сознательные трудовые массы. Таково веление самой истории. Рано или поздно современная культура должна преобразоваться в новую. Может быть, окольными дорогами,

после многих неудач и горьких испытаний, но люди придут к своей конечной цели.

Россия—самобытна в своем историческом развитии. Но ее судьба тесно связана с судьбами Европы. По-своему, конечно, но и она переживает тот же спасительный недуг. И она освобождается от неправды и возбужденными глазами ищет на небосклоне полярную звезду социальной правды. Падение крепостного права и низвержение самодержавия—два колоссальных факта, которые, как верстовые столбы, отмечают этапы, пройденные нами в течение последних ста лет. Ими обусловливается относительное значение наших общественных идеологий. В них черпает свою реальную силу и русский социализм.

Юный и наивный в тридцатых—сороковых годах XIX в., наш социализм, только что воспринятый от Запада, постепенно зреет и углубляется, приспособляясь к условиям русской действительности. Уже с 60—70-х годов он становится активным фактором жизни, вдохновляя нашу радикальную интеллигенцию на служение народу, временами поистине героическое. Отсюда безошибочно можно вести начало нашей социальной революции. Чисто интеллигентское и большею частью конспиративное вначале,—движение принимает всё более и более широкие размеры и делается общенародным, по крайней мере, по объему своего захвата. В истории этого движения—много поучительного. Знаменательна и та сложная эволюция, которую успел пережить наш социализм от раннего сенсимонизма до современного коммунизма.

Вслушаемся в речи русских писателей XIX века, и мы поймем, что их душа полна тревожного предчувствия великой катастрофы. Независимо от того, принадлежат ли они к социалистам или нет.

Гоголь содрогался от ужаса, видя вокруг себя „мертвые души“ и опустошенную землю. Пророческим голосом говорил он: „И непонятною тоскою уже

загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; всё мельчает и мельчает, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!“ „Теперь весь мир страждет“, писал Гоголь, потому что „мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции, или отдыхе“. Всё—на распутьи, в „переходном состоянии“. И в то же время все хотят одного—„той высокой гармонии в жизни, к которой стремится человечество, которая слышится несколько вперед только людьми, преобладательно одаренными поэтическим элементом.“ Объятый великой тоской, Гоголь ждал нового воскресения Христова и верил, что „праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, нежели у других“.

Гоголь—истинный предтеча *Достоевского*. Россия и Европа, христианство и социализм—вот вопросы, к которым была прикована творческая мысль великого романиста. Именно потому, что здесь, по его убеждению, проходит самый важный нерв современной жизни.

Еще во время суда над петрашевцами Достоевский высказался с полной определенностью: „На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и разрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование свое и детей своих! И эта картина не такова, чтобы возбудить внимание, любопытство, любознательность, потрясти душу? Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую. Такое зрелище—урок. Это, наконец, история—наука будущего... Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на

кризис, от которого ноет и ломится на-двое несчастная Франция, что я считаю, может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит это теперь?), и которое приведет, наконец, лучшее время?“

Под впечатлением событий сороковых годов Достоевский оставался всю жизнь, тем более что и Европа и Россия второй половины XIX в. не раз подновляли прежние его впечатления. Как художник и как публицист, автор „Братьев Карамазовых“ не переставал напряженнейшим образом думать о „драме беспримерной“. „В Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, всё гражданское основание всех европейских наций—всё подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно-новое, ни на что прежнее не похожее“, говорил он в 1880 г. („Дневник писателя“, август). Россия избегнет этой участи, потому что на ней нет грехов, которые бременят Европу. Наш молодой народ, заключивший в своей душе „склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению“, народ—богоносец, может быть, спасет дряхлую Европу; „нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру“. И это слово будет повторением евангельского учения о любви и братстве; это будет чистый христианский социализм.

Одним из самых ранних представителей русского социализма был *А. И. Герцен*. Острее, чем кто либо из русских писателей, переживал он катастрофический излом европейской жизни. В горячих, порою вдохновенных тирадах изображал он муки старого порядка жизни. Как будто он слышал уже треск падающего здания, неудобного и ветхого, и бодрый стук тех, кто трудится над сооружением нового. Как верный страж, стоял Герцен у „третьего порога“, через который суждено людям вступить в сферу „палингенезического времени“. Крушение старого мира—неизбежно. „Мне

кажется“, писал Герцен в 1854 г., „что роль *теперешней* Европы совершенно окончена; с 1848 года разложение ее растет с каждым шагом... Мы дошли, наконец, до крайних границ переделок и защекатуриваний; ветхие формы слишком тесны; в них нельзя повернуться, опасаясь, что оне распадутся“. „Кайтесь. господа, кайтесь!“ взывал он в другом месте: „Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями, ни даже разделением полей“. Социальный вопрос должен быть разрешен во всей его полноте. Русский народ не знает слова „социализм“, но „бытом своим ближе всех европейских народов подходит к новому социальному устройству“. Достаточно сказать, что община „благополучно дожила до развития социализма в Европе“. Поэтому „человек будущего в России—мужик, точно также как во Франции работник“. „Социализмом“, думал Герцен, „революционная идея может у нас сделаться народною. В то время как в Европе социализм принимается за знамя беспорядка и ужасов, у нас, напротив, он является радугой, пророчащей будущее народное развитие“. Герцен прекрасно понимал всю сложность социальной проблемы, не раз пересматривал вопрос о средствах достижения, но никогда не терял веры в конечное торжество социальных идеалов. Одна мысль безраздельно владела его душой, мысль о том, как миновать „геркулесовы столбы великой борьбы, великой революционной эпопеи“.

Вслед за Герценом нетрудно было бы назвать длинный ряд наших социалистов разных периодов и разных оттенков. Но в этом нет никакой нужды: всякий социализм в качестве основных предпосылок провозглашает отрицание старого (капиталистического) строя и создание такого порядка, который обезпечивал бы людям справедливое пользование материальными и духовными благами. Можно было бы призвать в свиде-

тели и таких писателей, которые не принадлежали к социалистам, но, подобно Гоголю и Достоевскому, томились по „высокой гармонии в жизни“[1]). Но я ограничусь только одним именем, именем того, пред кем благоговейно склонял голову весь цивилизованный мир.

Без *Толстого* нельзя мыслить историю духовных исканий XIX века. Он не был социалистом в обычном значении этого слова. Его причисляют к анархистам (напр., Эльцбахер), но сам Толстой не разъ заявлял о своем принципиальном расхождении с Бакуниным или Кропоткиным. К Толстому не применимы условные клички: Толстой есть Толстой.

Тем не менее его историческая миссия определялась теми же внутренними мотивами, которые породили европейский социализм, которые вдохновляли и вдохновляют провозвестников социального обновления. Мало сказать, что Толстой, как и Герцен, глубоко сознавал трагизм эпохи: в нем самом с необычайной яркостью воплотился этот трагизм. Принадлежа к привилегированной общественной среде, разделяя некоторое время все ее предрассудки, находясь на самой вершине современной культуры, Толстой усилиями своей гениальной мысли и несокрушимой воли победил в себе ветхого Адама и стал жителем того Царства Божия на земле, которое, по его учению, внутри нас, но которое еще не может реализоваться во внешних формах бытия. История внутренней жизни Толстого это — великий и святой символ самых высоких стремлений человечества. Поэтому с неотразимой силой звучат его обличительные слова против цивилизации, которая ничего не дает девяти десятым трудящихся, и грозно

---

[1]) Даже Тютчев, автор статьи „Россия и революция“ (1848), в конце концов ощутил жгучее дыхание революции, как „дыхание Божие“ и уразумел моральную мощь демократизма. Ср. интересную статью Леонида Гроссмана „Тютчев и сумерки династий“ в „Р. Мысли“ 1918, янв.—февр.—Герои нежного Чехова мечтательно призывают то далекое время, через сто, через тысячу лет, когда наша жизнь будет „свята, высока и торжественна, как свод небесный“.

раздается его огненный призыв к покаянию. Люди прошли уже животную (личную) стадию своего развития. Они уже находятся в периоде общественного миропонимания. Но основы этого миропонимания—языческие. Должен наступить третий фазис — всемирного или божеского понимания жизни, основанного на законе любви. Закон этот написан в душе и совести каждого. Он доступен каждому Платону Каратаеву, живущему в духе „простоты и правды". О нем учат все религии; о нем говорят все лучшие мыслители человечества. Это — правда Божеская и вместе правда человеческая. „Благоустроенное общество без насилия", равенство и братство людей — вот наш общий идеал. На месте теперешней цивилизации должна возникнуть новая культура, демократическая и справедливая. Крепостное рабство уже перестало существовать. Роскошные барские имения со всеми их затеями и угодьями оказались ненужными для освобожденных крестьян. Точно также рабочие, освобожденные от власти правительства и капитала, не станут поддерживать то, что было при этой власти, и „не пойдут работать на заводы и фабрики, которые могли возникнуть только при их порабощении, хотя бы эти заведения могли быть и выгодны и приятны для них". „Правда, что жалко будет, при освобождении рабочих от их рабства, тех хитроумных машин, которые так скоро и много ткут прекрасных материй или делают такие хорошие конфеты и зеркала и т. п., но так же жалко было и при освобождении крепостных прекрасных скаковых лошадей, и картин, и магнолий, и музыкальных инструментов, и театров, но как освобожденные крепостные заводили своих, сообразных своей жизни, домашних животных и свои нужные им растения, а сами собой уничтожились и скаковые лошади и магнолии, так же и рабочие, освобожденные от власти и правительства и капитала, направят свои силы на совсем другие работы, чем прежде." Пора отрешиться от

„суеверия цивилизации“ и понять, что она—„безнравственна и вредна“. Ведь все те условия жизни, которые мы зовем цивилизацией, „суть не что иное, как уродливые произведения самодурства высших, властвующих классов, каковы были произведения деспотов египетских, вавилонских, римских: пирамиды, храмы, серали; каковы были произведения русских бар: дворцы, крепостные оркестры, театры, пруды, кружева, охоты, парки, устраиваемые рабами для своих господ“. То же самое теперь все эти „пустяки, глупости и гадости“, как-то: пушки, крепости, синематографы, храмы, автомобили, разрывные бомбы, фонографы, телеграфы, скоропечатные машины и пр. Толстой призывает вернуться к простым формам земледельческой жизни, когда люди могут жить „в любовном общении с соседями, среди плодородных полей, садов, лесов“. Нечего опасаться, что это возвращение „к безвластию и земледельческой жизни“ уничтожит все культурные достижения человечества. Исчезнет только всё ложное и гибельное, поддерживаемое насилием. А вместо этого явится „усиленное производство всех тех полезных и нужных технических усовершенствований, которые, не обращая людей в машины и не губя их жизни, могут облегчить труд и украсить жизнь земледельцев.“

Так представлял себе Толстой неизбежную метаморфозу культуры. Приведенные слова были сказаны в 1906 г., под впечатлением „русской революции“. Толстой лелеял старую „мечту“, что „этот огромный переворот в жизни человечества начнется именно среди нас, среди славянских народов“.

Есть различия и даже весьма существенные между воззрениями цитированных мною писателей. Но знаменательно именно то, что все они, эти подлинные „дети солнца“, одинаково находятся под властью неотступной идеи, что назревает „огромный переворот в жизни человечества“, что должна, наконец, со-

здаться иная, справедливая культура. У всех—жуткое ощущение социального зла, грозное пророчество о гибели старого мира и торжественная проповедь новой жизни. Светом этой великой социальной идеи озарена вся дорога культурного человечества. Здесь—один из важнейших критериев для нашей оценки людей и вещей. „На грани“ это—один из самых живых мотивов русской литературы.

В этом аспекте я и хочу посмотреть на жизнь и творчество И. С. Тургенева.

II.

Из психологии Тургенева.

Тридцатые и сороковые годы XIX века—высший пункт в развитии нашей дворянской культуры. Далее идет ее постепенное умирание.

Тургенев впитал в себя всё то лучшее, чем красна была наша барская культура.

Крупная, породистая фигура. Красивое русское лицо с задумчивыми глазами. Духовное изящество, благородный аристократизм. Ароматная, лучистая душа. Поэтическая и философская настроенность. Сильно развитая мысль—при слабой воле. Наконец, нервная отзывчивость на явления жизни.

Тургенев—большой поэт и поэт прежде всего. Под его ласкающим взором всё расцветает, благоухает; всё превращается в золото поэзии.

Красота это—„единственная бессмертная вещь“, писал Тургенев Виардо (от 9 сент. 1850 г.). Ему искренно жаль исчезнувших нимф и дриад, которые придавали столько поэтической прелести полям и лесам (стих. в прозе „Нимфы“ 1878). Классическая гармония, красота античных статуй, аполлонизм—его эстетический идеал. Как не позавидовать грекам, которые „в прекрасной полноте изящного искусства“ умели вопло-

тить „богиню красоты, любви и наслажденья". И это не были скоропреходящие юношеские восторги перед Венерой Медицейской (стихотворение 1838 г.). Прочитайте письмо Тургенев в редакцию „Вестника Европы" о пергамских раскопках, относящееся уже к 1880 г. Мраморные горельефы лучшей эпохи аттического ваяния (III в. до Р. Х.), открытые в Пергаме, произвели на Тургенева „глубокое впечатление" своей „двухтысячелетней, скажем более—своей бессмертной красотой". Тщательно и вдохновенно описывая драгоценные находки, он не может не заметить: „какое счастье для народа обладать такими, поэтическими, исполненными глубокого смысла религиозными легендами, какими обладали греки, эти аристократы человеческой породы". А какое изумительное мастерство формы!.. „Да это мир, целый мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам", восклицает Тургенев. Нет, мы еще не знаем греческой скульптуры, не понимаем ее „классицизма". Тут и строгий реализм и смелый романтизм. „Вся эта бурная свобода романтизма до того проникнута высшим порядком и ясным строем высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему брату—эпигону только остается преклонить голову и учиться"[1]. Эллинизм был присущ психике Тургенева. „Высший порядок и ясный строй" это—то, к чему тянется его художническая душа. Их ищет он в природе, в людях, во всей жизни.

Как античного грека, Тургенева больше привлекает земля, чем небо. Ведь „природа во всем, как ясный

[1]) См. также у А. Ф. Кони („Памяти Т-ва" в „Изв. Отд. р. яз. и сл.", XIV, кн. 4, стр. 19).—„Две странички Пергамских раскопок", писал Анненков Стасюлевичу 16 апр. 1880 г. (III, 383), „принадлежат сами к изящнейшим го-рельефам русской литературы. Статейка так и просится в образцы стиля, чувства, красоты мысли и выражения." Иначе взглянул В. В. Стасов (С. Вестн., 1888, X, 161). В 1856 г., читая „Историю Греции" Грота, Тургенев любовался своими „милыми и счастливыми афинянами" (В. Евр., 1894, февр., 495). Ср. также в разборе „Записок ружейного охотника" (1852) и в „Накануне" (Шубин).

и строгий художник, чувство меры хранит, стройной верна простоте",—сказал Тургенев в стихотворении „Кроткие льются лучи" (1847).

Земная красота чарует Тургенева с непобедимой силой. Для земного он обладал зорким глазом и тонким слухом. Еще в детстве, когда он убегал в сад выплакивать свое горе, он ложился на землю и с наслаждением слушал „шум земли". Вспомним любое из тургеневских описаний природы. Проникновенно следит он за жизнью природы. Он знает все оттенки небесного свода, все нюансы в шуме леса; он уловил всё разнообразие птичьих голосов, изучил образ жизни и психологию многочисленных представителей животного мира. Тургенев не мог „видеть без волнения, как ветка, покрытая молодыми, зеленеющими листьями, отчетливо вырисовывается на голубом небе". Деревья имеют каждое свою особую физиономию, и им приличествует носить собственные имена: вот в окрестностях Куртавнеля береза Гретхен, дуб Гомер, каштан Герман, и последнему недостает только Доротеи, а вот другой дуб —„встревоженная добродетель" и пр. (письмо к Виардо от 14 июля 1849). (Ср. в разб. „Зап. руж. охотн").

Само небо заимствует свою красоту и получает свое значение от земли. Небо—„вечная и пустая беспредельность"; оно сине и лучезарно „только благодаря земле (потому что вне нашей атмосферы холод достигает 70^0 и света очень мало. Свет увеличивается во сто раз при приближении к земле)". В одном письме к Виардо (от 1 мая 1848 г.) у Тургенева вырвалось даже такое признание: „Ах, я не выношу неба!—но жизнь, ее реальность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее быстро преходящую красоту... всё это я обожаю. Я прикреплен к земле. Я предпочитаю созерцать торопливые движения влажной лапки утки, которой она чешет себе затылок на краю лужи, или длинные и блестящие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только

что напившейся воды из пруда, куда она вошла по колено,—всему, что можно видеть на небе."

Конечно, мы не поймем этих слов с буквальной прямолинейностью. Тургенев не был бы поэтом и мыслящим существом, если бы, действительно, относился к „небу" с холодным безразличием. Этого не было и не могло быть. Современник Станкевича, Белинского, Бакунина и Герцена, Тургенев был далек от стихийной непосредственности духа: он знал муки рефлексии, имел общую со своими сверстниками склонность к философствованию; философией он занимался даже ученым образом. „Присутствие элемента отрицания, „рефлексии", в каждом живом человеке",—говорил Тургеневъ в 1845 г. (разбор перевода „Фауста"),—„составляет отличительную черту нашей современности; рефлексия—наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье..." Но яд рефлексии нейтрализовался живым реализмом, характерным для мироощущения Тургенева. От гегельянства, как и от всей философской эпохи, он взял лишь тонкий аромат идеализма, сохранив реалистическую (эллинскую) ясность ума. Тургенев был одним из тех русских людей сороковых годов, которые видели в учении Фейербаха новое жизнепонимание. В 1847 г. он был в Берлине. Ему не могла не броситься в глаза резкая перемена, которая произошла к этому времени в философских настроениях Германии. „Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло совершенно—по крайней мере в юных сердцах", констатирует он. Гегельянец Вердер читает только перед „тремя" слушателями, из которых лишь один—немец. Понятно, почему забыли спекулятивных философов: „Фейербах не забыт, напротив!" прибавляет Тургенев.[1]) Фейербах,—писал он Виардо 8 дек.

[1]) В. Саводник. Забытые страницы И. С. Тургенева М. 1915. Стр. 8—9.— Русские Пропилеи, М. О. Гершензона, ч. 3, стр. 111.

1847 г.,—„есть единственный *человек*, единственный характер и единственный талант“.

Черты фейербахизма явственно выступают в воззрениях Тургенева. В средине сороковых годов он был убежденным реалистом по складу своего миропонимания, не хуже Белинского и Герцена. Мы часто слышим,—рассуждает он в письме к Виардо от 28 июля 1849 г.,—будто звезды „внушают религиозные чувства“. „Ну, а я уверяю вас, что вовсе не такое действие производят оне на того, кто смотрит на них просто, без заранее предвзятой мысли.“ Тысячи миров в изобилии разбросаны по самым отдаленным глубинам пространства. И всё это есть „не что иное, как бесконечное разлитие жизни, той жизни, которая всё обнимает, всё проникает, заставляет без цели и надобности зарождаться целый мир растений и насекомых в одной капле воды.“ Это—могучая, но стихийная, инстинктивная сила. Мы не знаем, что она такое, и она сама не сознает себя и действует по каким-то непреодолимым законам. „Жизнь“ всё творит, но творит без сознания, и потому в этом нет ее большой заслуги. „Эта равнодушная, властная, жадная, эгоистическая, захватывающая сила есть жизнь, а природа есть Бог; называйте ее как хотите, но не поклоняйтесь ей; т. е. оговариваюсь—когда она прекрасна, когда она добра (что случается не всегда)—обожайте ее за ее красоту, но не обожайте ни ее величие, ни ее славу!“ Ибо всё в мироздании „не может действовать иначе, как следовать Закону своего существования, который есть Жизнь“.

Перед лицом природы и даже Бога Тургенев хочет стоять в мужественной позе человека, гордого своей мыслью и дорожащего своей внутренней свободой.

Сцена смерти Базарова, повидимому, вызвала упрек со стороны Герцена, усмотревшего здесь проявление авторского „мистицизма.“ Тургенев нашел нужным уверять своего друга (в письме от 28 апр. 1862 г.):

„В мистицизм я не ударился и не ударюсь;—в отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста:

Wer darf ihn nennen,
Und wer bekennen:
Ich glaub' ihn!
Wer empfinden
Und sich unterwinden
Zu sagen: Ich glaub' ihn nicht!

Впрочем, это чувство во мне никогда не было тайной для тебя". Тургенев не был христианином в смысле „ортодоксии", «да пожалуй и ни в каком», прибавляет он сам в письме к гр. Е. Е. Ламберт от 3 сент. 1864 г. (стр. 170). В 1876 г. он назвал себя даже „неверующим" (Щук. Сб., V, 479)[1]). Знание и вера имеют свои законные границы. Тургенев не мог сплеча отрицать всё, что лежит, по крайней мере пока, в области непонятного и подсознательного. Иррациональные явления жизни он сделает даже предметом нескольких художественных произведений, написанных в фантастическом и символическом стилях. Но в своих пределах разум—автономен. Еще в 1843 г. в суждениях Тургенева Белинский заметил „характер и действительность. Он враг всего неопределенного" (письмо к Боткину от 31 марта 1843 г.). В письме к М. А. Милютиной от 22 февр. 1875 г. сам Тургенев рекомендует себя „преимущественно реалистом", поясняя при этом: „ко

---

[1]) Ср. рассуждения о Боге в поэме „Разговор", стихотворения в прозе—„Молитва" и „Христос".—Ср. также некоторые „замыслы" Тургенева („Гипотеза", „Два проповедника"). Брошюра Н. Л. Бродского „Замыслы И. С. Тургенева" (М. 1917. Оттиск из „В. Восп."). Стр. 34—38. См. тоже в воспоминаниях Н. А. Островской (Тургеневский Сборник, под ред. Н. К. Пиксанова, стр. 117 и сл.). Тургенев не одобрял стремления Бакунина и вообще социалистов разрушать религиозные верования народа (у Драгоманова, стр. 202—203). Сам он не отнимал Бога у своей религиозной дочери. „Я бы", писал он гр. Е. Е. Ламберт в 1862 г. (стр. 156—7), „себе не позволил такого посягательства на ее свободу, и если я не христианин, — это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье". Неверующим человеком изображает Тургенева гр. А.А. Толстая, имея в виду последний год его жизни (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, стр. 18).

всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу, и, сколько могу судить—доступен поэзии"[1]). „Всякая ортодоксия" чужда адогматическому уму Тургенева. Это—весьма важная черта: она многое уясняет в его творчестве.

III.

Основы тургеневской поэтики.

„Я один из писателей междуцарствия—эпохи между Гоголем и будущим главою", говорил Тургеневъ в письме к С. Т. Аксакову от ноября 1856г. (В. Евр. 1894, февр., 497). И действительно, начало литературной деятельности Тургенева относится к тому моменту, когда устанавливался наш художественный реализм, когда шла сравнительная оценка Пушкина и Гоголя, когда спорили о т. н. натуральной школе. Критика находила возможным говорить именно о двух школах—пушкинской и гоголевской. Пусть,—думал Белинский, в своих общественных взглядах Гоголь не был „либерален", но он непосредственно подошел к большим вопросам нашей общественной жизни; он—глава „натуральной" и вместе „социальной" школы в литературе. К ней уже Белинский мог причислить Герцена, Тургенева, Григоровича, Гончарова и др. Настроение умов в 40-х, а тем более в 60-х годах было таково, что гоголевское направление победило пушкинское. Дело доходило до прямого отрицания Пушкина.

Тургенев не вдавался ни в одну из крайностей: вся его психология и его художественные вкусы требовали синтеза „истины и красоты". В душе молодого Тургенева не найти безмятежного покоя эстета—

---

[1]) Философию Толстого в „Анне Карениной" Тургенев считал „в одно и то же время мистической, детской и высокомерной" (письмо к Г. Флоберу от 24 янв. 1880 г.).

созерцателя: в ранних его опытах гораздо больше мятежных настроений и исканий, чем любования жизнью. Белинский не ошибался, причисляя Тургенева к писателям натуральной школы. Творения Гоголя Тургенев, по его собственному свидетельству (в „Литературных воспоминаниях“), „чуть не знал наизусть“. Миросозерцания их были различны до противоположности. В „Переписке с друзьями“ Тургеневу чуялся „затхлый и пресный дух“. Но Гоголь для него прежде всего—„великий поэт, великий художник“. Во многих отношениях автор „Мертвых душ“ казался Тургеневу продолжателем Петра В.: „для нас это был более, чем только писатель: он раскрыл нам себя самих“, говорил Тургенев Виардо 21 февраля 1852 г. под впечатлением смерти Гоголя. Однако Гоголь не вытеснил из души Тургенева другой дорогой образ, образ Пушкина, которому в молодости он „поклонялся“, считая „чем-то в роде полубога“. В поэмах то и дело чувствуется пушкинская струя. Рисуя Парашу, поэт сам не мог не вспомнить пушкинской Татьяны. В стихотворении „К А. С.“ (1843) он также говорит: „Вы изменились, как Татьяна“. Влюбленные в поэме „Андрей“ читают Пушкина по вечерам[1]). Пушкина Тургенев нередко дает в руки героям и героиням своих повестей („Андрей Колосов“, „Два приятеля“, „Дневник лишнего человека“ „Клара Милич“, „Пунин и Бабурин“ и др.) и усиленно рекомендует его начинающим писателям и знакомым дамам (в том числѣ и графине Е. Е. Ламберт.). Поэта он представляет себе в „единственно-истинном, в Пушкинском смысле“ (к С. Т. Аксакову в 1854 г. —В. Евр., 1894, февр., 484). Пушкин, этот „древний по духу поэт“,—учитель Тургенева с самых первых шагов: у него учился он изящной простоте, которую всегда считал лучшим

[1]) В поэмах нет-нет да и мелькнет даже прямое заимствование из Пушкина: „В кустах рассыпались стрелки“ (Разговор, стр. 47); „Им овладело беспокойство“. (Помещик, стр. 90).

достоинством поэзии. (Ср., напр., в письме к К. С. Аксакову от 16 окт. 1852 г. В. Евр., 1894, янв., 335). Уже в поэмах он высмеивает всякую напыщенность стиля, всякую позу[1]); с осуждением относится он к реторической, „ложно-величавой“ школе 30-х годов. Без риска ошибиться можно сказать, что у Тургенева было больше конгениальности с Пушкиным, чем с Гоголем (у Достоевского—наоборот). В минуты душевной тревоги он любил читать Пушкина, и двадцать стихов гениального поэта возвращали ему бодрость и веселье. До конца он называл Пушкина „мой великий учитель“ (Стасюлевичу 14/2 дек. 1882 г.; III, 222). Пушкин, а из иностранных поэтов—Гомер, Шекспир и Гете—вот поэтический Олимп Тургенева[2]). В. В. Стасов (С. Вестн., 1888, X, 156) был близок к истине, когда утверждал, что Тургенев—„беспредельный фанатик и Пушкина и Гоголя“. В письме к Дружинину еще от 30 окт. 1856 г. Тургенев припоминал, что он, поклонник и малейшей последователь Гоголя, толковал . . . когда то о необходимости возвращения Пушкинского элемента, в противовесие Гоголевскому“. Общая причина этого, по верному замечанию самого Тургенева, состоит в его „стремлении к беспристрастию и к истине всецелой“. А истина эта требовала от русского писателя сочетания Пушкина с Гоголем. Так понимал очередную задачу литературы Белинский, так смотрела на свое дело вся „плеяда сороковых годов“. Этого принципа держался и Тургенев (ср. в его „Литературных воспоминаниях“ о Белинском; т. X, 34—38; также в статье о переводе „Фауста“, напр. т. X, стр. 266—269)[3]).

---

[1]) Ср. в поэме „Андрей“, стр. 106, 107, 109; в „Помещике“, стр. 77.

[2]) Однажды Тургенев назвал себя даже „заклятым Гетеанцем“. Статья „Первое представление оперы г-жи Виардо в Веймаре“ (1869). Р. Пропил. т. III, стр. 181. „Читайте Гете, Гомера и Шекспира—это лучше всего“, советовал он Марко Вовчок в 1860 г. (Мин. Годы, 1908, авг., стр. 81).

[3]) Период выработки стиля освещен в интересной работе К. К. Истомина „Старая манера“ Тургенева (1834—1855), напечатанной в „Известиях Отд. р. яз. и слов. Ак. Н., 1913, т. XVIII, кн. 2 и 3.

Чуткий к изяществу формы, Тургенев требовал, чтобы искусство прежде всего было искусством: „в деле искусства вопрос: как?—важнее вопроса: что?“—было его неизменным убеждением.

Писатели-демократы,—все эти Решетниковы, Успенские, Слепцовы и т. д.,—не лишены способностей,—говорил он,—„но где же вымысел, сила, воображение, *выдумка* где? . . . . . Правда—воздух, без которого дышать нельзя; но художество—растение, иногда даже довольно причудливое—которое зреет и развивается в этом воздухе.—А эти господа-*бессемянники*, и посеять ничего не могут“ (к Полонскому 2 янв. 1868 г.). У Глеба Успенского таланта в десять раз больше, чем у Николая, „но тоже очень всё однообразно и бедно красками“ (к Полонскому 25 янв. 1875 г.). Сильно не долюбливал Тургенев также Некрасова, предсказывая ему скорое забвение, „потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях „скорбной музы“ г. Некрасова—ее-то, поэзии-то и нет на грош, как нет ее, например, в стихотворениях всеми уважаемого и почтенного А. С. Хомякова“[1]). Зато повесть Помяловского „Молотов“ произвела на него впечатление „чего-то нового и свежего, хотя недостатков много, но это всё недостатки молодости“.[2])

Творчество должно быть свободным, искренним и простым, без „сочинительства, реторики“ и тенденции. „Насиловать себя и бесполезно и бесплодно“ (к гр. Е. Е. Ламберт, 1863 г. Стр. 162). „Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют“. Всякая предвзятость

---

[1]) Письмо к редактору „С. Петерб. Ведомостей“ (1870). Русские Пропилеи, т. III, ст. 201.—Ср. нападки Т-ва на франц. „реализм“ без „поэзии“(В. Евр., 1894,фев., 498)и его споры со Стасовым(С. Вест., 1888. X).

[2]) П. В. Анненков. Литер. воспоминания. Стр. 553. „Мне кажется, тут есть признаки самобытной мысли и таланта“, писал Тургенев гр. Е. Е. Ламберт (145). Ср. в „Щук. Сб.“, VIII, 361.

стесняет внутреннюю свободу художника. В тенденциозности славянофилов Тургенев видел главную причину их поэтического бессилия. Толстому, только что окончившему 1-ю часть „Юности", он желает больше всего „свободы, свободы духовной", опасаясь, как бы тот не „свихнулся с дороги" (письмо от 16 ноября 1856 г.)[1]. Истинный поэт творит всем своим существом. Его идеи выходят не из одной головы, но и из сердца, ибо, по выражению Вовенарга, „les grandes pensées viennent du coeur". В организме творения струится кровь самого писателя, как в организме ребенка—кровь матери, которая носила его в чреве своем. Только то произведение полно силы и соков, которое неразрывно слито с личностью создателя и с общей жизнью народа. Иначе самый даровитый писатель превращает свое искусство в „мертвую игрушку": „из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырости на том суке свежему листу, не раскрыться на нем пахучему цветку, как ни согревай его весеннее солнце". (заметка о Тютчеве).

Следовательно, чем богаче внутренний мир поэта, тем выше его произведение. „Greift nur hinein in's volle Menschenleben", повторял Тургенев слова Гете. Нужно только глубже захватывать жизнь. А для этого мало одного таланта: необходима свобода в отношении к самому себе, к своим идеям и системам, даже к своему народу и его истории, необходимо постоянное общение с средой, которую берешься воспроизводить, необходимы, наконец, серьезные знания. Последнее требование Тургенев подчеркивает с большою настойчивостью. Только образованный художник в состоянии понимать жизнь, „понимать те законы, по которым она движется и которые не всегда выступают наружу;

---

[1]) „Отсутствие настоящей, художнической свободы" Тургенев находил даже в „Анне Карениной" (письмо к Суворину от 14 марта 1875 г.).

нужно сквозь игру случайностей добиваться до типов и со всем тем всегда оставаться верным правде, не довольствоваться поверхностным изучением, чуждаться эффектов и фальши" (письмо к Кигну от 1876 г.).[1]) Художество, говорил Тургенев в речи о Пушкине, есть „воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию". Одухотворенное идеалами творчество не будет ни простым „подражанием", ни сухим „натурализмом". Так думал Тургенев, так думали Пушкин, Гоголь, Гончаров, словом все те, кто создавал поэтику русского художественного реализма.

IV.

Общий характер творчества.

Самым естественным типом литературного творчества как вообще, так в особенности для себя Тургенев считал, таким образом, индуктивно—реальное творчество[2]). „Всякий писатель, не лишенный таланта, старается прежде всего верно и живо воспроизводить впечатления, вынесенные им из собственной и чужой жизни". „Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями". Прекрасное „нигде не сияет с такой силой, как в человеческой индивидуальности; здесь оно более всего говорит разуму" (письмо к Виардо от 9 сент. 1850 г.). Про себя Тургенев прямо заявляет (в письме к Милютиной 1875 г.): „Больше всего интересуюсь живою правдою людской физионо-

---

[1]) Ср. в письме к гр. Е. Е. Ламберт от 1860 г. (стр. 103) и в письме к В. В. Стасову от 1871 г. (С. Вестн., 1888, X, 164).

[2]) Реализм—великий поток (ce grand courant), господствующий всюду в литературе и искусствах. Р. Пропилеи, III, 228. О французском реализме—Ib., 246—247.

мии“. В достоинство вменял он себе то, что „никогда не отправлялся от идей, а всегда от образов“ (Полонскому 27 февр. 1869 г.). Стремясь к точности своих изображений, Тургенев тщательно собирал „документы жизни“. Работая, напр., в 1869 г. над „Степным королем Лиром“, он просил управляющего Кишинского доставить ему необходимые сведения о том, как помещик мог бы при своей жизни передать дочерям родовое имение: „мне нужно знать в подробности, как это делается или делалось (дело происходит в 40-м году), кому, в какое место подавалась просьба, как составлялся акт, как он проводился в исполнение, кто при этом должен был присутствовать в качестве свидетелей, какие полицейские или административные лица (исправник, дворянский предводитель и т. д.). Всё это потрудитесь написать мне самым обстоятельным, деловым образом. Даже, если это вас не затруднит, приложите образчик просьбы, акта (дарственной записи) и т. д.“. Точно с такими же просьбами по разным поводам обращались в свое время Пушкин и Гоголь[1]).

Человек с большим поэтическим талантом и широким образованием, с тонкой отзывчивостью на живые факты действительности, с подвижным писательским темпераментом (в отличие, напр., от Гончарова), Тургенев, как немногие в его время, был подготовлен к роли *социального художника*.

Велико чисто художественное и психологическое значение тургеневского творчества.

Любовно отделывал Тургенев свои произведения, виртуозно пользуясь поэтическим богатством русского

---

[1]) Несколько интересных сведений о творческих приемах Тургенева находим в воспоминаниях Г. Джемса и Х. Бойезена (Мин. Годы, 1908, авг.) и в воспоминаниях Н. А. Островской (Тургеневский Сборник, под ред. Н. К. Пиксанова). Разумеется, письма Тургенева дают в этом отношении обильный материал. См. также гл. XVII в книге Н. М. Гутьяра „И. С. Тургенев“.

языка, которому сложил свой знаменитый гимн[1]). „Взыскательный художник" не любил вспоминать о своих молодых стихах, хотя и имевших в свое время не малый успех. Зрелые творения Тургенева отличаются простотой архетектоники, кристальной прозрачностью образов, благородством всего художественного стиля. Даже то, что не без основания кажется в нем на наш вкус „старомодным", имеет свою прелесть, как старинная барская усадьба, как всякая художественная старина.

Голос Тургенева—мягкий, без металла. Это—не Достоевский, жутко—дерзновенный и острый, как стальной клинок. Это—не Толстой, вещавший миру, как мощно гудящий колокол. [2]) Творчество Тургенева похоже на обильную водами, но плавную и тихоструйную реку с задумчивыми берегами; в ней нет опасных порогов, глубоких омутов и бурных водоворотов. Письмо Тургенева—лирическое, с оттенком какой-то женственности. Он тонко ощущал аромат der ewigen Weiblichkeit и умел изображать ее. Ненапрасно стяжал он себе славу „певца женской любви". У Тургенева немного соперников в искусстве передавать трепетную радость первого свидания, потрясающую поэзию первой любви. С поэтическим раздумьем погружается он в интимные тайны человеческой души. Как Чехов, бережно подходит он к чужому „я". (В Тургеневе есть

---

[1]) Когда Тургеневу приходилось давать отзывы о чужих произведениях, он, на правах „старого словесника", чрезвычайно строго относился к погрешностям в языке, нередко аппелируя к языку Пушкина или прямо рекомендуя читать Пушкина („это самая полезная, самая здоровая пища для нашего брата, литератора", писал он в 1859 г. Марко Вовчок—Мин. Годы, 1908, авг., 76).

[2]) На самого Тургенева Толстой производил впечатление „гиганта", „слона в зверинце", „самого даровитого писателя во всей современной Европейской литературе" (письма 1869 г. в „Щукинском Сборнике", VIII, 399, 400). Толстой, по его мнению, стал той главою русской литературы, которой еще не было в эпоху „междуцарствия", после Гоголя.—Иначе воспринимал Тургенев Достоевского. „Преступление и наказание", по его отзыву, „это что-то в роде продолжительной колики" (письмо 1866 г. в „Щук. Сб.", VIII, 377).

нечто чеховское или, вернее, в Чехове есть нечто тургеневское). Редко из его уст вырвется резкое слово осуждения. Ему противен „эгоист“, „изверг добродетели“, безжалостный к слабостям других („Эгоист“, 1878).

Творчество Тургенева, бесспорно, носит яркую печать субъективности: в лучших созданиях чувствуется трепет его сердца, дыхание его мысли. Его жанр—*лирическая* новелла. Но трудно согласиться с теми кто находит, что Тургенев —„чистый художник, т. е. созерцатель“, „по существу чуждый всяким гражданским мотивам“; только под влиянием сороковых годов, под влиянием Станкевича, Белинского и др. „он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль“. В действительности всю жизнь Тургенев будет любить только одно—женщину: „расцвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса,—только это он и будет рисовать с любовью, в силу непреодолимой внутренней потребности“. Гоняясь за идеями, Тургенев извращает свою природу, впадает в „художническую неискренность“ [1]).

Всё это—до чрезвычайности спорно. Совершенно невероятно, чтобы такой большой талант, как Тургенев, всю жизнь мог находиться под влиянием „сороковых годов“, под влиянием Станкевича, Белинского и др. Нельзя представлять себе дело так, что недобрые люди, не понявшие природы его таланта, приковали автора „Дворянского гнезда“ к тачке, нагрузили ее

---

[1]) М. О. Гершензон. Образы прошлого (М. 1912). Статья „Поэмы И. С. Тургенева“, стр. 150—153.—Подобную точку зрения защищает и А. Е. Грузинский, говоря о Тургеневе: „его интерес к общественной жизни был лишен жара и энтузиазма, носил скорее характер внимательного анализа; больше же всего он был художником-поэтом“. (История р. литературы XIX века, изд. Т-ва „Міръ“, т. III, стр. 279; ср. однако на стр. 281 и 331).

гражданскими идеями, а он до самой могилы покорно вез этот постылый груз, уныло гремя скованными ногами.

Влияние, конечно, было. Когда, напр., читаешь обширную статью Тургенева о переводе „Фауста“ Вронченком (1845), то кажется, что это—статья Белинского: так много общего в их воззрениях на литературу и жизнь. В частности можно также видеть прямое влияние сороковых годов,—идею в духе Белинского и Герцена,—когда автор „Разговора“ заставляет старика рассуждать:

. . . . . Но любовь
Не благо высшее людей;
Нетерпеливо пышет кровь
В сердцах несмыслящих детей...
Они лишь для себя живут.
Когда ж минует та пора,
Приличен мужу долгий труд
На славном поприще Добра.

Можно даже не придавать значения сожалению Лаврецкого, что лучшие годы ушли у него на женскую любовь. Отношение Тургенева к „монополии любви“, несомненно, было иное, чем у Герцена. Самые поэтические страницы Тургенева посвящены любви. Верно и тонко подмечено, что идея любви была существенной частью его общей философии. Но всё-же творчество Тургенева развернулось не по чужой указке, а в силу внутренних импульсов, под влиянием глубочайших потребностей его духа. Жизнь со всем богатством содержания, со всем разнообразием ее явлений была предметом его творчества, искреннего и задушевного. Он не только советовал другим писателям то, о чем говорилось выше, но и свою собственную задачу видел в том же. Конечно, он подходил к жизни не как публицист, а как художник и при том

с своей оригинальной, лирической манерой письма. [1]) Но в выборе сюжетов и в их разработке он не насиловал себя в угоду. каким-то внешним требованиям.

Сквозь поэтический, нередко ажурный рисунок его пера, сквозь утонченную форму его произведений всегда видна недремлющая мысль русского интеллигента в лучшем значении этого слова, человека с определенными общественными убеждениями, над которыми он много думал, которыми поэтому он сильно дорожит не только как публицист, но и как художник, постигающий „законы“ жизни, ее типические явления. „Я стремился“, говорит о себе Тургенев, „насколько хватило сил и уменья, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет the body and pressure of time (самый образ и давление времени), и ту быстро изменяющуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служит предметом моих наблюдений“. Наш художник не спускал взора с России, „этой огромной и мрачной фигуры, неподвижной и туманной, как сфинкс Эдипа“. Загадочно и страшно смотрят глаза сфинкса. Они требуют ответа. Сфинкс может поглотить того, кто не сумеет разгадать его тайны. Тургенев чувствовал себя в числе обреченных. „Будь спокоен, сфинкс“, с горькой шуткой пополам говорил он (в письме к Виардо от 16 мая 1850 г.): „я вернусь к тебе, и тогда ты можешь поглотить меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки!“[2])

Разгадать загадку сфинкса, загадку русской жизни,— вот в чем Тургенев видел смысл своей художественной деятельности. Говорят, будто идейное содержание

---

[1]) Если угодно, можно вслед за Ап. Григорьевым сказать — „как романтик“, придавая этому слову тот новый смысл, какой вкладывал в него создатель органической критики.

[2]) На той же идее „Россия—сфинкс“ построено, кстати сказать, одно из последних стихотворений Александра Блока „Скифы“ (журн. „Наш Путь“, 1918, № 1, апр.).

тургеневского творчества „выдохлось давным давно“, „а живым и жгучим для всех осталось в его творениях то, что он действительно любил: женщина и ее любовь“.

Нет, Тургенев интересен и притом бесконечно интересен также как большой и мыслящий художник, стоявший на *грани* двух культур и—*на страже* культуры. Он чувствовал себя участником и свидетелем нескольких драм: это — драма беспочвенного русского интеллигента, драма России (в ее положении между Востоком и Западом) и, наконец, драма социальная, общеевропейская[1]).

На глазах Тургенева в русской жизни совершился ряд важных и трагических событий, явственно происходил исторический перелом.

Тургенев видел безумные проявления николаевской реакции; видел наростание общественного движения, крушение бюрократического режима и падение крепостного права; видел лихорадочные усилия демократической интеллигенции ускорить ход жизни и как можно быстрее приблизить страну к желанному идеалу; видел, наконец, как постепенно замирали „течения“, превращаясь в спокойное, неподвижное болото обывательщины, как политическая реакция снова задавила живые порывы общества.

В тяжелую пору пришлось России хоронить автора „Нови“ († 22 авг. 1883). В ответ на конституционные заявления русского общества, в ответ на предло-

---

[1]) Предметом особого этюда мог бы быть вопрос о художественной манере Тургенева, как „писателя переходного времени“. Так он сам назвал себя в письме к Л. Н. Толстому еще в 1856 г. (16 ноября), прибавив, что он годится „только для людей, находящихся в переходном состоянии“. Тургенев чувствовал „разность манеры“ своей и толстовской. (Ср. также предисловие к франц. переводу „Двух гусаров“ в 1875 г. и письмо к редактору „Le XIX-e Siècle“ 1880, janvier—P. Пропилеи, т. III, 228, 260). Нечего уже говорить о манере Достоевского, резко отличавшейся от тургеневского стиля. С другой стороны, Тургеневу приходилось отмежевываться от разночинской литературы, которая постепенно выработала также свой стиль. Вопрос о тургеневской школе еще не изучен. Тургенев и Чехов—вот один из самых заманчивых сюжетов в этой области.

жение Исполнительного Комитета Народной Воли созвать народных представителей, чтобы русские революционеры получили нравственное право посвятить себя мирной культурной работе,—правительство императора Александра III, вдохновляемое К. П. Победоносцевым, решило „стать бодро на дело правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину самодержавной власти“. Какой светлой полосой казались после этого 60—70-ые годы! Правда, и здесь местами виднелись большие темные пятна, иногда даже следы запекшейся крови, но в трепетных переливах свето-теней чувствовался страстный перебой гражданских настроений: там была борьба, жизнь, надежды, идеалы. С восьмидесятых годов надолго вернулись—глухая неизвестность, вынужденное бездействие, хмурая рефлексия „лишних людей“, которым суждено было вновь воскреснуть в произведениях А. П. Чехова.

Тургеневу было над чем подумать, было о чем рассказать.

Если бы даже наш писатель вовсе был лишен способности к социальному мышлению, если бы он был совершенно чужд идеологических воззрений,—всё-равно восприимчивому человеку трудно было остаться безучастным к исторической эпопее русской жизни. Глубокая трещина, которая зияла на поверхности дворянской России, прошла через самое сердце Тургенева, определив существенную сторону всей его психологии.

Россия вступала в новую фазу своего общественно-политического развития. Жизнь требовала свободы и демократизации. Дворянский период истории кончался. Умирала крепостная, дворянская Русь. Давно уже обнаружились несомненные симптомы ее разложения, и смерть была неизбежной. У постели умирающей собрались все ее присные. В качестве близкого родственника присутствовал при этой агонии и Тургенев.

Дворянские гнезда разорялись. В них много было красоты, да мало правды. Тургенев знал это не хуже того разночинца—демократа, чья неумолимая рука уже заносила свой острый ланцет, чтобы совершить хирургическую операцию над организмом русской жизни. Что-то сильно хрустнуло в надломившемся строе, и это больно отозвалось в душе писателя. Невидимый, но живой нерв соединял его с прошлым. Родословное дерево всегда висело в кабинете владельца с. Спасского. Тургеневу не вытравить из своего сердца естественного чувства жалости к тому, с чем он кровно связан, но что̀ теперь умирает. Он опоэтизирует самую смерть старого порядка жизни и благоуханными цветами украсит его могильную урну.

Больно было смотреть на картину смерти, но не было сил защищать дряхлое и полусгнившее. „Хороша старина... Ну да и Бог с ней!“[1]) Тургенев твердо памятовал, что „в эпохи народной жизни, носящие название переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины—идти вперед, несмотря на трудность и часто грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом“. История обрекала Тургенева на роковую двойственность положения и на неизбежные страдания. Хорошо было разночинцу—демократу: в прошлом у него не было ничего дорогого; его „основные идеалы“—в будущем; он смело подходил к жизни, как законный претендент на ее блага; спокойно разрушал он старое: оно было чужим для него. Если при всем том и разночинец не обошелся без мук рефлексии, приспособляясь к новым условиям жизни (как, напр, Помяловский и его Череванин), то психология Тургенева, писателя—дворянина, человека сороковых годов, вся окрашена душевной тревогой,

[1]) Заключительные слова повести „Старые портреты“ (1881).

колебаниями между отрицанием и утверждением, между верой и отчаянием, между „да“ и „нет“.

В этом отношении русская литература не знает другого, столь же типичного художника, как Тургенев. По Тургеневу мы можем изучать тот интимный процесс, который происходил в недрах дворянской интеллигенции в период ликвидации старого режима. Нежный, а порою терпкий аромат грусти разлит по творчеству Тургенева.

В этой грусти было, конечно, и нечто личное и нечто от мировой скорби. Но душа Тургенева непосредственно и притом большой своей долей соприкасалась с ходом русской и европейской жизни. Своими острыми шипами жизнь колола его, и из раненого сердца сочилась кровь.

Вся динамика тургеневского творчества это—динамика самой русской жизни.

Сначала Тургенев сознавал себя неотделимой частью известного целого; он как бы находился в самом кругу изображаемых явлений, всё равно казались ли они ему положительными или отрицательными, писал ли он о себе или о других. Поэмы и стихотворения, повести и рассказы сороковых годов, даже сами „Записки Охотника“—всё это говорит об органической связи писателя с миром его героев. Разрыва нет. Есть лишь разные отношения к этому миру. Далее наш художник уже отходит в сторону, переступает через круг, и сбоку, с некоего возвышения начинает зарисовывать то, что́ осталось по ту сторону круга. Это—поэтические итоги законченного фазиса и поэтическое прощание с покинутым миром. Это—„Рудин“ (1855) и особенно перл его творчества—„Дворянское гнездо“ (1858). Кисть художника заметно дрожала, когда он рисовал образ Рудина. Автор не знал, осудить ли ему своего красивого фразера или пожалеть бесприютного скитальца русской земли. [1] Элегически

---

[1]) „Уж коли с кого списывать, так с себя начинать“, заметил Тургенев по поводу возможного прототипа Рудина (письмо к С. Т. Аксакову 27 февр. 1856 г.—В. Евр. 1894, февр., 494).

звучит музыкальная душа Тургенева в „Дворянском гнезде“. У него нашлись теплые и красивые слова, чтобы передать поэзию „гнезда“. Слеза участия заволакивала его взор, когда неудачник Лаврецкий раскрывал ему исповедь своей славянской души.

Достойно внимания то, что именно в средине пятидесятых годов, приближаясь уже к сорокалетнему возрасту, Тургенев констатирует в себе важный „перелом“, когда он почувствовал потребность стать настоящим „литератором“, а не „дилетантом“, „человеком, знающим куда он идет и чего хочет достигнуть“ (письмо к гр. Ламберт 3/15 ноября 1857 г.). Любовно, но решительно расстался Тургенев с дворянским прошлым. Расстался не только с крепостниками Полутыкиными и Пеночкиными, но и с идеалистами и лишними людьми. Трогательно-поэтические проводы устроил он Рудиным и Лаврецким, с тем, чтобы тотчас повернуться в другую сторону и пытливо устремить свои глаза вперед, туда, где виделось нечто новое и светлое. Бодро встретил Тургенев „канун“ и не испугался новых людей, импонировавших ему прежде всего своею внутренней силой („Накануне“, 1859, „Отцы и дети“, 1861). Но чем дальше, тем сложнее и запутаннее становилась жизнь. Краткий момент ярких ожиданий сменился сомнениями. Не „дым“-ли всё, что̀ клубится на поверхности русской жизни? Но вот стало несколько проясняться, начали вырисовываться какие-то контуры. Смелые пахари принялись поднимать „новь“ русской жизни. Что-то будет? Как бы мимоходом не запахали участков, предназначенных для иного культурного посева. Как бы не подрыли самого фундамента, того, что́ именуется ци-ви-ли-за-ци-ей, культурой.

Само собою разумеется, что Тургенев иначе воспринимал и иначе изображал новые для него явления жизни, чем те, с которыми он органически был связан. Сто́ит только проанализировать параллельно худо-

жественные приемы в двух больших романах, типично выражающих два момента жизни: „Дворянское гнездо“, с одной стороны, „Отцов и детей“, с другой. В первом романе все образы—ясные, законченные, пластичные; во втором портреты „детей“ эскизны, образы нового—неполны и неустойчивы. В первом романе—искренно прочувствованный рассказ; во второмъ—пульс бьется более ровно, тут—скорее интерес, чем симпатия.

Литературная судьба тургеневских произведений (их успех или неудача), с своей стороны, характерно отражает психологию исторического момента.

Итак, три периода творчества, три цикла мотивов. Потому что художник шел за жизнью, стараясь воплотить то, что Шекспир называл the body and pressure of time, стараясь разгадать русского сфинкса.

V.

Между Востоком и Западом.

Тургенев принадлежал к тому поколению русской интеллигенции которое болезненно переживало чувство своей оторванности от почвы,—яркий симптом несостоятельности тогдашнего уклада жизни. Как много и красноречиво говорили об этом Белинский и Герцен! Как настойчиво повторяется мотив одиночества в поэзии Лермонтова, в ком молодая Россия видела своего поэта!

> О жалкий, слабый род! О время
> Полу-порывов, долгих дум
> И робких дел! О, век! о, племя,
> Без веры в собственный свой ум!

восклицал Тургенев в поэме „Помещик“.

В его стихотворениях, поэмах и повестях раннего периода беспрестанно мелькают знакомые фигуры рус-

ских гамлетов. Они по праву презирают толпу, которая „ест и пьет исправно, и что в душе задумчивой живет — болезнию считает своенравной“. Но сами скитаются „без цели, без желанья“ („Толпа“, стихотворение 1843 г., посвященное Белинскому). Тоскуют по „пламенным речам“, по громким делам. Им самим страшно подумать, что в „бездействии“ состарятся они. Донкихотства русскому интеллигенту, пожалуй, не занимать стать, но нет идеала, „а идеал дается только сильным гражданским бытом, Искусством (или Наукой) и Религией“ (письмо к гр. Е. Е. Ламберт 10 июня 1856 г.).

Печальное, обреченное поколение „грызунов“, „самоедов“, „гамлетиков“ страстно хочет быть здоровым, цельным, жизненным. Как обрадуются все, когда среди них появится простая и гармоническая натура! Станкевич—идеал для Белинского и для Тургенева. С завистью будут вспоминать о декабристах: те умели бороться и знали, что делают. Трудно сомневаться в том, что именно декабрист изображен Тургеневым в поэме „Разговор“ (1844), столь удивляющей нас необычной для Тургенева (даже в сороковых годах) формой. Ссыльного декабриста всего естественнее было представить в образе старика — „пустынника“, „отшельника“, живущего „в пещере мрачной и сырой“. Старая литературная форма „пустынников“ как нельзя более была пригодна и по цензурным условиям[1]). „Молодому человеку“, сверстнику автора, не сравниться со стариком, который в молодости был „силен и суров и горделив“ и „сердце вольное бе-

---

[1]) Сближение старика съ декабристами сделано также В. Е. Ветринским (в „Ист. р. лит. XIX в“, изд. Т-ва „Міръ“ вып. 8, стр. 195) и проф. И. И. Ивановым во втором издании его монографии о Тургеневе (стр 75). К. К. Истомин энергично оспаривает такой взгляд. По его мнению, поэма „Разговор“ „это—тонкое упражнение в пушкинском и лермонтовском стилях.“ „В лице старика Тургенев задним числом отразил свое молодое увлечение чистым искусством, светлой и жизнерадостной поэзией Пушкина и Гете“ („Старая манера“ Тургенева. Спб. 1913. Стр. 20—25. Цитаты на стр. 20 и 23).

рёг". „Бывало—пламенная речь звенела, как булатный меч, гремела, как набат", пробуждающий в народе „ярый год" и сзывающий граждан „па грозный, на последний бой". Одинокий старик „мечтал о жизни молодой, о новых сильных племенах; желал блаженных, ясных дней земле возлюбленной своей". Ему нечего стыдиться прошлого, того, что прежде было „святыней" для него. Хотя и не видно еще осязательных плодов. „Молодой человек" смело требует отчета, спрашивая, что сделали „предки наши", могут ли они сказать: вот, благодаря нашим доблестным трудам, „насколько вырос наш народ". Но потомку не пристала роль судьи. „И мы не лучше вас... Нам даже слава не далась", горестно и справедливо замечает он.

Знаменательно—то, что и молодой человек мерилом деятельности считает рост народа. Это—конечная цель. И он хотел бы бороться с „равнодушным миром", где „кипит всё тот же наглый пир", где, „кровью праведной хмельна, неправда царствует одна". И он мечтал о подвиге для народа.

И за тобой, о, мой народ,
Пойду я радостно вперед—
И загорится в сердце вновь
Святая, братская любовь.

По своей ли собственной вине, по вине ли „вождей" или, наконец, по вине „бессмысленного народа", но только молодой человек потерпел неудачу. Ему пе снести тяжелых цепей. В отчаяньи он готов покинуть „родимый край", чтобы „искать неведомых богов". „В земле чужой", по крайней мере, вольна его душа. Здесь бестрепетно может он „ответить вызовом врагу— и, наконец, на зло судьбе, погибнуть в радостной борьбе". Это—и Рудин, погибающий на парижских баррикадах в 1848 г., и эмигрант Герцен.

„Заеденным рефлексией" русским интеллигентам пуще всего хочется выбиться из трясины гамлетизма,

обрести почву, дело. Несчастье Рудиных—в том, что они России не знают. „И это, точно, большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм—чепуха, космополит—нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии“. Так рассуждает у Тургенева умный Лежнев. Так думает и сам автор. И не мог иначе думать художник и реалист. Ему нужна конкретная народность, а не абстрактный космополитизм.

Но в чем она, эта русская народность? Гораздо легче утверждать бытие народности, чем определить ее. Отважно принялись наши идеологи, начиная с сороковых годов, за решение задачи. И немедленно единая по существу проблема распалась на несколько частных: народ и общество, Россия и Запад, Россия и социализм. И вопросы эти трактовались горячо, даже страстно. Все понимали, что речь идет не о теоретических идеях социологии, а о са́мом жизненном деле, о том, без чего немыслимо сознательное существование великого народа.

Славянофилы скоро нашли самих себя. Их вера была непоколебима. Тургенев—западник. „Я вижу“, писал он К. С. Аксакову 16 окт. 1852 г., „*трагическую судьбу* племени, великую общественную *драму* там, где вы находите успокоение и прибежище эпоса“. [1])

---

[1]) В. Евр. 1894, янв,, 335. Курсив—мой.—„По моему мнению“, говорит Тургенев тому же К. С. Аксакову несколько позже (16 янв. 1853 г.; ibid., 340), „трагическая сторона народной жизни—не одного нашего народа—каждого—ускользает от вас, между тем как самые наши песни громко говорят о ней!“—Небезынтересно однако отметить, что севастопольская война навела С. Т. Аксакова на подобные же мысли. „Борьба в Крыму—сама по себе великая драма“, писал он Тургеневу 22 ноября 1854 г. (Р. Обозр. 1894, ноябрь, 22), „но, по моему, это только пролог к великой всемирной драме, на чью бы сторону ни склонилась победа.“

Не величавый эпос, а страшная трагедия, прежде всего русская, а потом и—европейская.

„Трагическая судьба племени“ ближайшим образом состоит в том, что Россия должна, наконец, определить свою „ориентацию“. Задолго до Петра В. Русь очутилась между двух великих культур, восточной и западной. Решительным напором Петр придвинул Россию к Западу. Весь XVIII век приспособлялась она к Европе, старательно сглаживая свои национальные шероховатости. Но так и осталась Россией. Как следовало ей поступать дальше? В этом был весь вопрос, мучительный для русской интеллигенции, или для „людей—обезьян“, по терминологии К. Аксакова (Р. Обозр., 1894, авг., 482-483).

Еще в записке „Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине“ (1842 г.)[1]) Тургенев уже наметил сущность проблемы. Вся Европа заинтересована „вопросом о значении русского народа вообще“. Особенно хорошо понимают нас в Германии, но и Франция с Англией начинают ценить Россию и уважать ее. Впрочем, „сокровенный смысл славянской народности не доступен западным ученым“. Это—неудивительно: наше национальное лицо еще не приобрело „определенной самостоятельности“. Мы всё еще не имеем культурной оседлости. „Мы народ не только европейский“, рассуждал молодой Тургенев: „мы не даром поставлены посредниками между Востоком и Западом; не даром наши границы касаются древней Европы, Китая и Северной Америки, трех самых различных выражений общества“. Было бы гибельно „впасть в слепое поклонение всему русскому потому только, что оно русское“[2].) Точно также нельзя оправдать „ограниченных и, скажу прямо, неблагодарных нападок на Запад, особенно на Германию“.

---

[1]) Русские Пропилеи, т. 3-й.

[2]) Хотя, конечно, „русскому всё русское любо, как бы оно ни было подчас смешно“ (в резенции на повести казака Луганского, 1846 г.).

Россия—двуликий Янус. Но одна у нее или две души? Куда направлены ее духовные устремления?

Славянофилы верили в народную правду и предлагали восточно-славянскую ориентацию. Тургенев верил в интеллигентскую правду и отстаивал ориентацию—западную.

Поскольку речь шла об общем принципе самобытности, Тургенев, как и вообще западники, не расходился с славянофилами. В средине сороковых годов он также считал русских „народом юным и сильным, который верит и имеет право верить в свое будущее" (статья по поводу перевода „Фауста"), ибо „в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития" (статья о повестях казака Луганского). Космополитов, „интернационалистов" в новейшем смысле тогда еще не было. Позднее Тургенев попытался свести беспристрастный баланс счетам славянофилов и западников. Это было в период создания „Дворянского гнезда" (1859). Вся концепция романа, проникнутого задушевнейшим лиризмом, говорила о психологической важности почвенного развития. Генеалогия рода Лаврецких понадобилась для того, чтобы иллюстрировать все исторические зигзаги нашей жизни. Иван Петрович Лаврецкий с его вольтерьянством и англоманством необычайно типичен для „отцов". В результате многократных и разнородных прививок ствол дерева искривился. Федор Лаврецкий —„вывихнутый" человек, и выпрямить его может только тяга земли. Славянофильство для него душевный пластырь. С большой сердечной теплотой рассказал Тургенев о том, как птенец дворянского гнезда снова, но уже с перешибленным крылом, вернулся сюда, чтобы залечивать свои раны. Инстинкт художника подсказал автору, что рядом с Лаврецким нужно поставить родную ему женскую душу. Лиза Калитина —сама благоуханная поэзия русской народности. Ее духовная красота убеждает лучше, чем вся диалектика

славянофилов, в существовании правды народной. И Тургенев окружил ее образ всеми чарами искусства. Как поэт, он не погрешил против художественной истины. Так уж сложилась тогда наша общественная жизнь,—пояснял Тургенев свои славянофильские симпатии. Пятидесятые годы были временем его занятий русской историей и древностями, временем его сближения с Аксаковыми, но и временем споров с ними, конечно, больше всего с Константином Аксаковым. Привить Тургеневу славянофильство Аксаковым не удалось. Все основные вопросы—вопрос о личности, об общине, об европеизме—Тургенев понимал в западническом смысле. В этом отношении он был верен самому себе на протяжении всей своей деятельности, начиная с поэмы „Помещик", продолжая „Однодворцем Овсянниковым" (Любозвонов)[1]) и кончая письмами последних годов.

В тот самый год, когда Москва праздновала зарождение панславизма (в ответ на пангерманизм), Тургенев в „Дыме" (1867) скептически отнесся к давнишним, но бесплодным толкам о нашей культурной самобытности, которой мы собираемся удивить Европу. „Уж эти мне самородки"! возмущается Потугин: „Да кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства". Прославленная даровитость русской натуры и ее гениальный инстинкт—не более, как „лепетанье с просонья, а не то полузвериная сметка". У нас нет самостоятельного искусства (Глинка—исключение, подтверждающее правило), потому что „самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации, и так называемое народное, наивное,

---

[1]) В Любозвонове и „умнице московском" (в „Помещике") Тургенев явно рисовал фигуру К. Аксакова. Ср. письмо к Колбасину от 26 янв. 1857 г. и письма И. С. Аксакова к Тургеневу от 1852—3 гг. (Р. Обозр. 1894, авг., 477, и сент., 8).

бессознательное творчество есть нелепость и чепуха". Иные даже русскую науку открыли: „ у нас, мол, дважды-два тоже четыре, да выходит оно как-то бойчее". Потугин знает, что его речи не по сердцу славянофилам. Но ведь они—в роде Васьки Буслаева: большие мастера пихать ногою мертвые головы да гнилые народы. А толку от них мало [1]).

Неудивительно, что самобытники и почвенники дружно ополчились на автора „Дыма". Достоевский пришел в негодование от европеизма и в частности от германофильства Тургенева; обругал последнего за „Дым", „который, по его понятию, подлежал сожжению от руки палача" (письмо Тургенева к Полонскому от 24 апр. 1871 г.), и заклеймил его в образе Кармазинова (в „Бесах").

Тургенев, с своей стороны, преследовал славянофильство всюду, являлось ли оно в чистом виде или в виде примеси. „Славянофильская брага" социалистов герценовско-огаревского типа так же противна ему, как брага чистой московской фабрикации [2]).

На это есть у него глубокие причины. „Всякая система—в хорошем и дурном смысле этого слова—не русская вещь", говорил он в 1853 г. самому Константину Аксакову (В. Евр. 1894, янв., 339). „Всё человеческое мне дорого, славянофильство—чуждо, так же как и всякая *ортодоксия*", писал он М. А. Милютиной 22 февр. 1875 г. Трезвый ум Тургенева не верит ни в какие абсолюты и системы, сторонится

---

[1]) О Ваське Буслаеве Тургенев напоминал непосредственно К. С. Аксакову еще в 1853 г. (В. Евр., 1894, янв., 340).—В предисловии к отдельному изданию „Дыма" автор хотел „еще сильнее" „доказывать необходимость нам Русским по прежнему учиться у Немцев,—как Немцы учились у Римлян и т. д." (Щук. Сб., VIII, 382). Но намерения этого не исполнил: см. предисловие к „Дыму" в „Р. Пропилеях" III, 169--170.

[2]) Даже „Анну Каренину" Тургенев осуждал за то, что она „пахнет Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворянщиной и т. д." (к Полонскому от 13 мая 1875 г.; ср. письмо к Суворину от 14 марта 1875 г.) и письмо от 22/10 марта 1876 г. в Щук. Сб., V, 478 („Православие, дворянство, Славянофильство" и пр.).

всякой ортодоксии. Реально-историческое чувство заставляет его держаться за испытанные основы европейской культуры, которая стала уже общечеловеческой. Самой судьбой мы обречены на западничество.

Знаменитая речь Достоевского на пушкинском празднике 1880 г. ни на йоту не изменила воззрений Тургенева. „Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь“, передавал он Стасюлевичу о своем впечатлении (III, 185): „—всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для Русского самолюбия“. Сомнительно, чтобы мы, русские, сказали последнее слово Европе. Да и едва ли особенно желательно быть „безличным всечеловеком“: „лучше быть оригинальным Русским человеком“, как посвоему оригинальны европейцы. Западничество не обозначает обезличения. (Ср. показания В. В. Стасова—С. Вестн. 1888, X, 161).

В вопросе о нашей принадлежности к Востоку или Западу для Тургенева не было дилеммы. Обращаясь лицом к Западу, он однако понимал, что главная трудность еще впереди.

Чем Запад может пригодиться нам? Сама Европа—арена политической и социальной борьбы.

VI.

Политическая свобода.

25 ноября 1862 г. Тургенев писал Герцену: „Я, насколько хватает моего понимания, вижу *трагическую* сторону в судьбах всей Европейской семьи—(включая, разумеется, и Россию)“[1]).

Чрезвычайно важное и правдивое заявление. Тургенев понимал трагическую сторону европейской жизни, и внимательно следил за ее политическими и социальными событиями.

---

[1]) По изданию Драгоманова, стр. 174. Курсив—мой.

Пусть еще в письме к Виардо от 20 июня 1849 г. Тургенев выразился, что он не имеет „den politischen Pathos“; пусть и позднее он назовет себя „не политической натурой“ (в письме к Герцену от 4 ноября 1862 г.); пусть повторит то же самое еще раз, утверждая, что он — „писатель, и больше ничего“ (к Анненкову от 6 февр. 1863 г.). Это верно, но лишь в том смысле, что он не принимал и не способен был принимать активного участия в политической борьбе. Отказываясь „заниматься политикой“, он справедливо писал гр. Е. Е. Ламберт в 1863 г. (стр. 161): „это дѣло мне чуждое и неинтересное, и я обращаю на него вниманіе, насколько это нужно писателю, призванному рисовать картины современного быта“. Политические интересы у Тургенева однако были и временами проявлялись весьма напряженно.

Сочувствие Тургенева к декабристам едва ли можно отрицать, особенно если принять предложенное выше понимание „Разговора“. Пролетая с Эллис над северной Пальмирой, он не мог не услышать протяжного крика: „Слуша-а-а-ай!“, который доносился с Петропавловской крепости. Пафос романа „Накануне“ (1859) — в политической свободе. Так и поняла его современная литературная критика (Добролюбов), надеясь, что болгарин Инсаров только предтеча русских Инсаровых, и что скоро Еленам не придется искать дела на стороне. Шубин с увлечением говорит о поэзии революционной борьбы: „Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, паденье, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай Бог всякому!.. Натянуты струны, звени на весь мир или порвись!“ Сам Базаров, как уверял Тургенев, мечтался ему как „какой-то странный pendant Пугачевым“ — „фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и всё-таки обреченная на погибель, — потому что она всё-таки стоит еще в преддверии будуще-

го“. Автор „Отцов и детей“ не думал пока о соц альном смысле, который Базаровы могут вложить свою борьбу. В новом человеке ему видна была лиш стихия разрушения, борьба свободной личности старыми авторитетами и принципами жизни.

Интереснейшая переписка Тургенева с Герцен в 50—60-х годах полна откликов на политическ темы. Когда в 1862 г. зашла речь о политическ адресе государю, Тургенев близко принял к серд это общественное выступление и хотел, „раскр беспощадной рукой все безобразия нашей админис рации, суда, финансов и т. д., требовать созван земского Собора, как единого спасения России“ окт. 1862 г.).

Началась франко-прусская война (1870). Тургене охватил страх за „бедную, растерзанную, растерянн Францию“. Вначале он желал немцам успеха, единственно потому, что в бесповоротном паден наполеоновской системы видел „спасение цивилизаци возможность свободного развития свободных учреж ний в Европе“. Но когда пруссаки стали одержива победу за победой, и опасность грозила уже Пария Тургенев испугался: чего доброго, немцы попытают произвести реставрацию императорского режима, а для Франции было бы хуже, чем отнятие провинц „Падение гнусной империи Наполеона“, писал Ту генев Полонскому (6 сент. 1870 г.), „доставило м великую радость: нравственное чувство во мне уд летворилось—после такого долгого ожидания! Но не скрываю от самого себя, что не всё впереди—ро вого цвета—и завоевательная алчность, овладевш всей Германией—не представляет особенно утеш тельного зрелища.“ [1]) Естественно, что и в дальне шем Тургенев не упускает из виду Франции: зорко всматривается в ее политическую жизнь. На

[1]) См. его корреспонденции в „С.-Петерб. Ведомостях“: „Русс Пропилеи“, т. 3-й. Также у Стасова (С. Вестн., 1888, X, 151).

тии ведут между собой ожесточенную борьбу, а на карте — политическая свобода страны. Тургенев делится своими думами в письмах к М. Е. Салтыкову и отчасти к М. М. Стасюлевичу. Напр., 5 дек. 1875 г. он радостно сообщает Салтыкову, что „*весь* список левых прошол“, что с их врагами чуть не падучая от бешенства. Он прощает левым их тактический союз с крайней правой; это, „конечно, не слишком нравственное дело“, но они сумели забраться в самую цитадель, „заранее уготованную г.-м Брольи и К^{0}“. „Это такой фокус, что чудо. Реакционеры беснуются, а самые уверенные из них говорят с унынием и резиньяцией: La Republique est faite maintenant. Нет; вы вникните, — и, я вас уверяю, взыграете духом“. „Во Франции“, писал Тургенев Полонскому 24 сент. 1877 г., „борьба народа с правительством скоро должна разрешиться в ту или другую сторону. Пока — шансы на стороне народа“. Но надежды могут обмануть. 5 дек. 1877 г. в письме к Г. Флоберу он скорбит о „бедной Франции, которая... не может шевельнуться ни ногой, ни рукой“. Локомотив на всех парах несется к бездне, а машинист равнодушно смотрит на неминуемую гибель.

В то же самое время наша война за освобождение славян приковывает к себе внимание Тургенева и растравляет его раны, как он выразился в письме к Полонскому от 24 сент. 1877 г. „Мы переживаем смутное время — 1612 год; — но где Минин?“ спрашивает он. В своих суждениях Тургенев заявляет себя трезвым политиком. Он не питает никаких иллюзий насчет альтруизма в международной политике. „Везде и всюду то же Дарвиновское „battle for life“, а по-французски: „ôte toi de là pour que je m'y mette“. Смешно, как это делают славянофилы, придавать войне чуть не мистическое значение, видеть в ней какую-то купель очищения ,чудодейственное средство „вылечиться от нашего внутреннего худосочия“ (в письмах к Полонскому

от 9 и 30 дек. 1876 г.). Нет, „дай Бог заключить скорее почетный и прочный мир“ (Полонскому 2 янв. 1878) [1]). Как во Франции, так и у нас перед началом войны за славян возникла было борьба народа с правительством, и „шансы казались на нашей стороне“, но ожидания не сбылись. Свобода добывается иначе [2]).

Когда русский престол занял император Александр III, Тургенев отозвался на это событие большой статьей, в которой показал себя хорошо осведомленным и вдумчивым политиком. По его убеждению, ничто не мешает России стать конституционной монархией, по примеру западных государств („Les Russes sont de la même race que les autres peuples européens, leur instruction et leur civilisation sont analogues, leurs besoins sont identiques, leur langue obéit à la même grammaire: aussi pourquoi la vie politique du peuple russe ne se reposerait-elle pas sur les mêmes assises constitutionelles que celles des nations ses voisines?“ Р. Пропилеи, III, 268).

Итак, нельзя отрицать в Тургеневе глубокого интереса к политическим событиям. Наш писатель — на стороне свободы и демократии. В России он хотел бы видеть конституционно-парламентский строй, учрежденный волею народа на земском соборе. В этом отношении без всяких колебаний его можно ставить рядом с Герценом, Салтыковым и другими деятелями „левого“ направления.

Гораздо больше спорного оказалось для Тургенева в области социальных проблем, которые соприкасались с чрезвычайно сложными сторонами русской жизни и с самыми интимными уголками личной психологии Тургенева.

---

[1]) См. также стихотворение „Крокет в Виндзоре“ (1876).

[2]) Что Тургенев ждал после войны „представительных учреждений“, — см. также в письме к Стасюлевичу (III, 146).

VII.

Тургенев и народ.

Было бы странно причислять Тургенева к великосветским писателям. Но „свет“ не был ему чужим.

Не принимая всего „за чистую монету“, мы не можем однако обойти малчанием следующее свидетельство автора „Параши“:

..... Но, читатель добрый мой,
Увы! и я люблю большого света
Спокойный блеск, и с радостью смешной
Любуюсь гордым холодом привета—
Всей этой жизнью звонкой и пустой.

. . . .

Люблю я пышных комнат стройный ряд
И блеск, и прихоть роскоши старинной...
А женщины... люблю я этот взгляд
Рассеянный, насмешливый и длинный;
Люблю простой, обдуманный наряд
и т. д. [1])

Известная связь Тургенева с высшим общественным кругом существовала. Но связь эта никогда не была особенно прочной. Тургенев мастерски изображал людей „большого света“ и высокопоставленных особ. Но это—не его амплуа. Охотнее всего переносит он действие своих произведений куда-нибудь в провинцию, а еще лучше—в усадьбу, в деревню.

Как барин, как русский человек и как поэт, любил Тургенев деревню и народ. Деревня—необходимое

---

[1]) Характерно, что Тургенев обращает особое внимание на красоту рук у своих героинь (напр., в повестях: „Андрей Колосов“, „Гамлет Щ. уезда“, „Затишье“, „Клара Милич“, „Сон“ и др.) и у знакомых дам (напр., у гр. Ламберт, у сестры Л. Н. Толстого—в письмах к Ламберт, стр. 40, 3). Упоминание о ручках у Тургенева не реже, чем у Пушкина упоминание о ножках.—Без сомнения, Тургенев анализирует состояние собственной души, когда говорит о „невольной нежности“ авторов к своим светским героям типа кн. Чельского в романе Евг. Тур. „Племянница“ (разбор 1852 г.)

окружение дворянской усадьбы. Усадьба не только не могла бы существовать материально, но и утратила бы свою поэтическую прелесть, если-бы около нее не было этих соломенных крыш, этих колодезных журавлей; если бы около нее не скрипели мужицкие телеги, не раздавались крестьянские голоса. Деревня дополняет, расширяет и осмысливает существование усадьбы.

„Люблю я вечером к деревне подъезжать“, писал Тургенев в стихотворении 1847 г. („Деревня“). Так приятно глазами провожать „ворон играющую стаю“, которая вьется над старой церковью; приятно среди полей, лугов, на тихих берегах заливов и прудов прислушиваться к лаю собак недремлющих, к мычанью тяжких стад.

Люблю заброшенный и запустелый сад
И лип незыблемые тени.
Не дрогнет воздуха стеклянная волна;
Стоишь и слушаешь — и грудь упоена
Блаженством безмятежной лени...
Задумчиво глядишь на лица мужиков —
И *понимаешь их* [1]); предаться сам готов
Их бедному, простому быту...

Вот идет к колодезю старуха; высокий шест скрипит и гнется; чередой подходят лошади к корыту... Вот песню затянул проезжий; грустный звук быстро сменяется лихим выкриком, и застучала тряская телега. Вот девушка выходит на низкое крыльцо и на зарю глядит. Вот, качаясь медленно, с пригорка спускаются гуськом огромные возы „с пахучей данью пышной нивы“. А там без конца бегут степей широкие разливы.

Струистый ветерок бежит — не пробежит...
Земля томится, небо млеет...
И леса длинного подернутся бока
Багрянцем золотым, и ропщет он слегка,
И утихает, и синеет...

---

1) Курсив — мой.

Идиллическая картина деревни в рамке русской природы. Большое мастерство описаний. Элегическое и сладкое раздумье. Всё — красиво, всё — мило, всё — понятно. Понятны даже мужики с их бедным и простым бытом. А девушкой, чье „круглое лицо зарделось алой, яркой краской“, нельзя не залюбоваться. Здесь нет чужих, здесь нет врагов. Всё — свое, родное, дорогое.

А сколько интимных радостей ждет поэта за оградой усадьбы, в тенистых аллеях дедовского парка, в затейливых беседках! Рассказывая про чужую любовь в поэме „Параша“, автор невольно замечтался:

> Я помню сам старинный, грустный сад,
> Спокойный пруд, широкий, молчаливый...
> Я помню: волны мелкие дрожат
> У берега в тени плакучей ивы;
> Я помню — много лет тому назад —
> Я в том саду хожу в траве высокой
> (Дорожки все травою поросли),
> Заря так дивно рдеет... блеск глубокий
> Раскинулся от неба до земли...
> Хожу, брожу задумчивый, усталый,
> О женщине мечтаю небывалой...
> И о прогулке поздней и немой —
> И это все сбылось, о, Боже мой!

О том же вспоминает Тургенев значительно позднее, в „Довольно“ (1864) [1].

Душа благостно растворяется; человек становится добрым, гуманным, отзывчивым [2]. Тургенев написал свои дивные „Записки охотника“ не только потому, что он дал „аннибалову клятву“ бороться с крепостным правом, но главным образом потому, что к этим те-

---

[1]) Ср. въ стихотворении „Один, опять один я“ (1850).

[2]) Тургенева „надо показывать въ деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человѣкъ“,—писалъ Л. Н. Толстой Некрасову 12 июня 1856 г. („Современник“, 1913, кн. VIII).

мам влекло его сердце. Чувство ненависти к притеснителям и созданному ими порядку жизни рано стало сливаться у него с чувством жалости и любви к угнетенным. По самым свойствам своей мягкой натуры Тургенев не мог быть суровым обличителем. „Записки Охотника"—скорбь о поруганной красоте человеческой личности, об унижении человеческого достоинства в крепостном рабе, о страданиях „лишних людей" деревни. Лаской и поэзией дышат лучшие рассказы из „Записок Охотника". Тонко прочувствовал автор общечеловеческую сторону народной „души". Он полюбил дипломатический ум Хоря, романтизм Калиныча, этический эстетизм Касьяна, поэтическую настроенность деревенского певца, свежую чуткость деревенских ребятишек и т. п. Не без налета „романтизма" опоэтизировал автор „Записок Охотника" крепостного мужика, его думы, чувства и творчество (народную песню между прочим Тургенев деятельно популяризировал за границей).

Пройдет много лет, и Тургенев будет соблазнять своего друга, Флобера, возможностью вместе поехать в Россию. „В аллеях старого деревенского сада, полного сельских благоуханий, земляники, пения птиц, дремотных солнечного света и теней,—а кругом-то—двести десятин волнующейся ржи,—превосходно!" восклицает он (письмо из Москвы от 26 июня 1872 г.): „Невольно замираешь в каком-то неподвижном состоянии, торжественном, бесконечном и тупом, в котором соединяется в одно и то же время и жизнь, и животность и Бог. Выходишь оттуда, как после я не знаю какой мощно укрепляющей ванны, и снова вступаешь в колею, в обычную житейскую колею".

Вспомним, наконец, стихотворение в прозе „Деревня" (1878). Это—великолепный pendant к стихотворению 1847 г. под тем же названием. Длинный промежуток в тридцать лет оказался бессильным рассеять поэтические чары деревни. Тургенев попрежнему

юношески влюблен в „родной край“, в это небо, залитое ровной синевой, в этот летний воздух, как молоко парное, в звенящих жаворонков, в воркующих голубей, в реющих ласточек, в фыркающих лошадей, в собак, которые не лают, а стоят, смирно повиливая хвостами. „И дымком-то пахнет, и травой,—и дегтем маленько—и маленько кожей“. А как хороша сама деревня, раскинувшаяся вдоль глубокого оврага! Любовно описывает автор каждую подробность; не забыл даже кувшинов с букетами, намалеванных на ставнях, заметил и кошек, клубочком свернувшихся на заваленках. Нечего говорить о курчавых детских головках, о русокудрых парнях, о круглолицых молодках, о приветливой старухе-хозяйке. Каждая деталь—художественная миниатюра и просится на полотно.

Растроганный до умиления поэт восклицает: „О, довольство, покой, избыток русской, вольной деревни! О, тишь и благодать! И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе святой Софии в Царь-Граде, и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?“

Так сильна была непосредственная любовь Тургенева к русской деревне. Это чувство прочно засело в интимных изгибах его психики.

К сожалению, у Тургенева были запутанные счеты с народом, которые не могли не замутить его ясного, почти идиллического любования деревней.

Счеты эти были, вопервых, самые прозаические, на почве отношения помещика к крестьянам. Неприятно было видеть, что „вся Спасская дворня предавалась по случаю праздника пьянству мрачному и остервенелому“ (письмо к Д. Я. Колбасину от 1856 г.). Но хуже всего—то, что освобождение крестьян прошло у Тургенева не совсем гладко. Правда, по его словам, он „всячески содействовал успеху общего освобождения“, но всё-же не мог не оговориться: „Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее“ (письмо к С. А. Венгерову от 19 июня 1874 г.).

Без недоразумений во всяком случае дело не обошлось. Многие мужики упирались, не хотели идти на оброк, „а без оброка выкуп (а ведь это главная цель)— невозможен“ (письмо к Я. П. Полонскому от 21 мая 1861 г.). „Этого факта (что мужики не захотят идти с барщины на оброк) никто не предвидел, а между тем он повсеместный“, замечает Тургенев (письмо к Д. Я. Колбасину от 14 июня 1861 г.). Возня с упрямыми мужиками начинала раздражать[1]). Было обидно, что крестьяне видят в нем обыкновенного барина, с которым нужно держать ухо востро, которого можно и надуть. И после отмены крепостного права, Тургенев продолжал заботиться о крестьянах: то выстроит для них школу, то откроет богадельню, то поможет лесом или землей. А мужик как будто не чувствует этих благодеяний, и при случае не прочь поэксплоатировать барина или в грубой форме заявить свои „права“[2]). Оно хорошо, что „народ ростет не по дням, а по часам“, что в нем развивается сознание человеческого достоинства. Теперь мужик уже подругому кланяется „барину“. Тургенев доволен, что 19-е февраля сделало его только „землевладельцем“, а „не помещиком и не барином“ (к граф. Ламберт 3/15 ноября 1857 г.). Но худо—то, что иногда крестьяне как бы подчеркивают свое запанибратство с бывшим помещиком и вступают с барином в какой-то двусмысленный разговор: „Разгуляться, значит, к нам приехали?—Да.—Соскучились по родной сторонке?..

---

[1]) Жалобы на это находим во многих письмах Тургенева (напр., к Анненкову, Фету, гр. Ламберт и др.). Небезынтересно отметить, что те же неприятные чувства переживал в деревне Л. Н. Толстой. 12 июня 1856 г. в письме к Некрасову он жаловался на несговорчивость крестьян, взбудораженных неясными слухами об освобождении. „Уж поговорю я с Славянофилами о величии и святости сходки мира. Ерунда самая нелепая. Я Вам покажу когда-нибудь протоколы сходок, какие я записывал“,—прибавляет Толстой (Современник, 1913, кн. VIII).

[2]) В письме к Стасюлевичу от 11 марта—27 февр. 1877 г. Тургенев рассказал о неприятном для него столкновении с крестьянами из-за лесу (III, 118).

—Соскучился.—Поди, не весело теперь здесь?—Вот посмотрю.—Тэ-эк с"!.. Это многозначительное „тэ-эк-с" должно было звучать особенно прискорбно. К тому же посетители зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают. „Ну мыслимо-ли было что-нибудь подобное двадцать лет назад"! восклицает Тургенев, и, повидимому, сам не знает, радоваться этому или огорчаться. Рассказ относится к 1879—1880 г.[1]).

С недоверием и враждой посматривает мужик на барина, и Тургенев чувствовал на себе этот тяжелый и подозрительный взгляд. Однажды он поделился с Полонским своими опасениями, что, чего доброго, в одно прекрасное утро, когда господа преспокойно пьют на балконе чаек, подойдет к ним гурьба спасских мужиков; снимут шапки, поклонятся, всё честь-честью, а потом с елейными оговорочками и предложат господам готовиться к петле: потому-де „указ такой вышел, батюшка, а мы уж и веревочку припасли". „Русский простой мужик", неожиданно заявляет Тургенев, „вовсе не так жалостлив, как его описывают, да и не может он никого так любить, потому что он и к самому себе равнодушен"[2]).

Слова эти вырвались у автора „Записок Охотника" в 1881 г., как грустный итог жизненных впечатлений. До петли, конечно, было еще далеко. В 1882 г. крестьяне Спасского-Лутовинова прислали больному барину письмо. Тургенев благодарит их „за добрую память и за хорошие пожелания", дарит им, „по примеру прежних лет", одну десятину леса, но не может удержаться от тревожных мыслей и господских назиданий: „Дошли до меня слухи, что с некоторых пор у вас гораздо меньше пьют вина; очень этому

---

[1]) Н. Н. Златовратский. Из воспоминаний о Тургеневе. Братская помощь армянам. 2 изд. М. 1898. Стр. 450.

[2]) Я. П. Полонский. На высотах спиритизма. Спб. 1889. Стр. 483, 513—514.—Цитирую по статье Н. Л. Бродского. „Замыслы И. С. Тургенева", стр. 15—17.—См. в письме к Стасюлевичу от 1 июня 1881 г. (III, 194).

радуюсь и надеюсь, что вы и впредь будете от него воздерживаться: для крестьянина пьянство—первое разорение.—Но жалею, что, тоже по слухам, ваши дети мало посещают школу. Помните, что в наше время безграмотный человек тоже что слепой или безрукий". А в заключение уже буквально pro domo sua: „Уверен, что вы никакого ущерба ни дому моему, ни саду, ни вообще имению моему делать не будете—и в том на вас полагаюсь". И подписался: „бывший ваш помещик".

Таковы—плоды „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет". Переступая вместе с другими помещиками и представителями дворянской интеллигенции великий порог, чтобы начать новую жизнь, Тургенев не мог не запнуться. В душе осталось неприятное ощущение, что дело идет как-то непохорошему, что он перестал понимать то, что еще недавно казалось вполне понятным. Проблема народа осложнилась. Если в 1850 г. Россия в целом казалась Тургеневу сфинксом, то теперь он думает, что сфинкс-то не кто иной, как мужик: Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичек (стихотворение в прозе „Сфинкс" 1878 г.). Как его понять, когда он сам себя не понимает,—думал Базаров вместе с автором „Отцов и детей". Снова и снова, волею судеб, русский интеллигент—в неблагодарной роли Эдипа. Не разгадает сфинкса и—будет беспощадно проглочен. Это жуткое состояние мучило Тургенева. От сфинкса —России и даже от сфинкса—мужика никуда не уйдешь. В конце концов надо же в этих „бесцветных, но глубоких глазах" прочитать судьбу родины и свою собственную.

VIII.

Тургенев и социализм.

„Для человека с сердцем есть только одно отечество—демократия“, говорил Тургенев в 1848 г. Чисто герценовская фраза, но Тургенев переживал революцию 1848 г. значительно по-другому, чем автор „С того берега“.

Герцен переехал границу с надеждой на торжество социализма. Европейская революция была его собственным делом, неудача—крушением его собственных идеалов. Оттого он близко принимал к сердцу каждый момент движения; с страстным и лихорадочным напряжением следил за ходом событий, и его душевные вопли так понятны и так трогательны.

Тургенев смотрел на события со стороны, как наблюдатель и художник. Раз он причислил себя даже к „фланерам“ („Наши послали“). Ему, по его выражению, „не приходилось драться ни по ту, ни по сю сторону баррикад“.

О равнодушии, разумеется, не могло быть и речи. „Наступило страшное, мучительное время“, вспоминает Тургенев („Наши послали“, 1868): „кто его не пережил, тот не может составить себе о нем точного понятия.—Французам, конечно, было жутко: они могли думать, что их родина, что всё общество разрушается и падает в прах; но тоска иностранца, осужденного на невольное бездействие, была если не ужаснее, то уже наверно томительнее их негодования, их отчаяния“.

В революционные дни 1848 г. Тургенев был на улицах Парижа, видел революционную толпу, слушал ораторов. Всё это описано им с интересными деталями, но события, видимо, не захватили его вполне. „Порядок и буржуазия справедливо восторжествовали на этот раз“, спокойно замечает он в письме к Виардо. Трудно понять, чего собственно хотел народ: „были

ли они революционерами, или реакционерами, или же просто друзьями порядка. Они точно ожидали конца бури. А между тем я много расспрашивал рабочих в блузах... Они ожидали... они ожидали!.. Что же такое история?.. Провидение, случай, ирония, или судьба?..“ Кто угадает смысл исторических событий? Бунты относятся к той же категории „дурных и бестолковых вещей“, что холеры, грады и т. п. стихийные бедствия (письмо к Виардо от июня 1849 г.).

Через двадцать лет Тургенев восстановил в памяти свои прежние воспоминания 1848 г. в двух очерках: „Человек в серых очках“ и „Наши послали“ (1868). Сквозь дымку десятилетий факты предстали значительно смягченными; роль зрителя выдержана в еще бо́льшей степени, и сквозь художественный объективизм повествования проступают нотки скептицизма по отношению к „безумному восстанию“ рабочих и сожаления обо „всех этих возбужденных, сбитых с толку, потерянных головах“. Революция 1848 г. выступает как фантастическая феерия, и проблематическая фигура „человека в серых очках“—так гармонирует со всей обстановкой сцены: это—достойный актер трагедокомедии. Monsieur François похож на тех морских птиц (stormy petrel), которые появляются во время бури и исчезают, как только настанет ясная погода. Мосьё Франсуа не презирает народ, но исключительно потому, что не уважает его: народ это—стихия, земля, которая кормит, которую попирают ногами, которая может поглотить и непременно поглотит человека. Заключать с ним союз нельзя. Не верит Франсуа и во французский социализм. Пусть социализм родился во Франции, но во Франции же он и умрет, если уже не умер. У французов—не социалистические головы. „В настоящее время социализм требует творческой силы.—Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам... к вам, пожалуй.—А француз—изобретатель... но не

творец. Француз остер и узок, как шпага... А чтобы творить—надо быть широким, круглым".

Интересные суждения. Едва ли можно сомневаться, что в них есть отголоски тургеневских взглядов (последние слова кажутся аллюзией на Платона Каратаева,—олицетворение круглого).

В 1848 г., подобно Герцену, Тургенев думал, что „мир—в муках рождения", и знал, что „много есть людей, заинтересованных в том, чтобы дело кончилось выкидышем" (к Виардо от 17/5 янв. 1848 г.). Также погерценовски говорит он в другом письме к Виардо (20 июня 1849 г.): „Старые нации умирают сами и заражают других, потому что оне уже сгнили и сами заражены. В этом случае можно петь с Рожером: „И Божий гром не грянет над этими нечестивыми головами?". С негодованием говорил он о поручении, возложенном на генерала Ламорисьера,—привлечь на свою сторону русского императора для борьбы с „бедными венгерцами". Словом, для человека с сердцем,—думал Тургенев,—есть только одно отечество—демократия.

После этого вполне понятно, что Тургеневу казалось исторически неизбежным появление на сцене русской жизни новых людей, людей демократического склада, которые идут на смену дворянской интеллигенции. Разночинец пришел. Пришел человек из демократической среды, без утонченного воспитания, не белоручка, претерпевшийся к жизни. Совесть его покойна, и держится он независимо, даже вызывающе. Настроен явно неприязненно ко всему, чтó так или иначе напоминает барство, романтику и идеализм. Уже психологически он—реалист и революционер. В этом направлении будет он вырабатывать всё свое миросозерцание. Не всегда справедливые в своих суждениях, реалисты—демократы предъявляли однако требования, которые трудно было оспаривать, с которыми, во всяком случае, нельзя было не считаться. Тургенев пре-

красно понимал всё это. В 1856 г. он взял Чернышевского под свою защиту от нападок Дружинина. В статьях Чернышевского он чувствует не „мертвечину“, а „струю живую“, потому что тот понимает „потребности действительной современной жизни“ (письмо от 30 окт. 1856 г.). Свой роман „Отцы и дети“ Тургенев хотел бы истолковать, как „торжество демократизма над аристократией“, уверяя, что это произведение всецело „направлено против дворянства, как передового класса“. Базаров, с полного согласия автора, бросил в лицо Кирсанову фразу, что он,—Базаров,—подлинное порождение народного духа.

Тургенев встретил новых людей без всякого предубеждения. Но, конечно, его положение в этом случае было иное, чем прежде, когда он изображал русских гамлетов. Теперь он сошелся лицом к лицу с чужими людьми. Поэтому творческая работа Тургенева над романом „Отцы и дети“ оказалась для него необычно трудной.[1]) Сомнения не покидали его до самого конца. Он прислушивался к суждениям своих литературных друзей и переделывал роман, внося иногда довольно существенные изменения—даже в образ Базарова. Ни к одному из своих произведений Тургенев не дал столько комментариев, и всё-таки многое остается для нас неясным в процессе его работы и в его отношении к герою. Впрочем, уже самое обилие комментариев—характерный симптом, указывающий на затруднения художника. Тем не менее одно несомненно: Тургенев не собирался писать памфлета на нигилистов. Недаром же роман посвящен памяти Белинского. Герцен предполагал, что Тургенев „вывел Базарова не для того, чтобы погладить по головке“, но, как

---

[1]) 12 ноября—31 окт. 1860 г. Тургенев писал гр. Ламберт: „Задачу я себе задал трудную и более обширную, чем бы следовало по моим силам, которые не созданы на большие дѣла. Буду стараться елико возможно“. Роман,—признавался Тургенев в другом письме (19 июля 1861 г.), „мне стоил больше труда, чем всё, что я написал доселе“.

художник, увлекся и „вместо того, чтобы посечь сына, он выпорол отцов“. Это не совсем так. Скорее нужно поверить Тургеневу, что он—на стороне Базарова во всем, кроме отрицания искусства. Ведь и в Чернышевском он осуждал главным образом то, что тот „плохо понимает поэзию“. Теоретически, особенно впоследствии, он в состоянии понять и, следовательно, оправдать („понять—простить“, сказал Лир) даже самое отрицание искусства. В речи о Пушкине Тургенев примирительно выразился, что людям „политической эпохи“ было „не до поэзии, не до художества“; он признал вполне законным явлением в ходе нашего исторического развития то, что искусство „стало служить другим началам, столь же необходимым в общественном устроении“, что авансцену заняли „поэты—глашатаи“. Веря, что наступит момент, когда ничто не помешает свободному развитию поэзии, когда, „найдя свои естественные границы, поэзия упрочится навсегда“, Тургенев вместе с тем умел отдавать должное критике Писарева, лучшего в свое время истолкователя Базарова (см. его „Литературные воспоминания“)[1]. К Базарову Тургенев, по его словам, испытывал „влечение, род недуга“, и Д. Н. Овсянико-Куликовский дал прекрасное психологическое объяснение, почему это было так. Сильная, демократическая натура Базарова не отталкивала автора, а влекла к себе, и он желал, чтобы и читатели полюбили его героя таким, каков он есть. Тургенев очень ценил своих „Отцов и детей“. „Изо всего моего литературного прошлого“, писал он М. М. Стасюлевичу в 1876 г. (ст. ст.), „я имею причины быть довольным именно этой повестью—и скорее согласился бы похéрить „Записки Охотника“ чем ее“ („М. М. Стасюлевич и его современники, т. III, стр. 103). Ниги-

---

[1] „Статья Писарева в „Русском Слове“ мне показалась очень замечательная“, говорил Тургенев Анненкову в письме от 8 июня 1862 г. (М. М. Стасюлевич и его современники, III, 187).

лизм представлен Тургеневым не совсем в той социальной плоскости, как, напр., у разночинца Помяловского, и не в той бытовой обстановке, в какой слагалось „кладбищенство“ Череванина. Тургенев делает особое ударение на смене поколений (отцы и дети), а не классов, как у автора „Мещанского счастья“ и как отчасти у него самого в „Пунине и Бабурине“ (1874). Поставленные рядом, Череванин и Базаров—как бы два последовательных момента в развитии одного и того же социального явления. Сосредоточив свое внимание преимущественно на мировоззрении „нигилиста“, Тургенев правдиво схватил самую суть его психики. „Базаров удивительно верное изображение нигилиста“, говорит компетентный в этом вопросе судья, кн. П. А. Кропоткин.

Базаров—демократ, проповедующий идею труда („природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник“), нигилист по миросозерцанию и вместе с тем по духу социалист—революционер. Не случайно он—современник Рахметова (в романе Чернышевского „Что делать“). Самому автору Базаров грезился в качестве „какого-то странного pendant Пугачевым“. И это действительно так. Всеотрицающий нигилизм—ведь то же, что бакунинство. Социализм во всех своих стадиях и во всех странах стремится начинать свою работу с разрушения старого, идеалистического миросозерцания и старой религии, стремится, выражаясь словами Герцена, расстричь все канонические истины из ангельского чина в людской. Материалист Базаров именно этим и хочет заниматься прежде всего другого. И народная масса, по его мнению, может приобщиться к новой жизни не раньше, чем она усвоит новое миропонимание. А теперь можно только глумиться над понятиями народа. Базаров не верит в мужицкую общину и в народную правду. Тут он вполне солидарен с автором. Тургеневского нигилиста не мучат, как Череванина, „веселенькие пейзажики“.

Ему как бы не хочется и говорить об общественных вопросах и общественных реформах. Это—занятие, достойное либералов. Он смотрит на вещи глубже и радикальнее. Как именно, Базаров умалчивает. Ведь молчит же у Чернышевского его загадочный Рахметов. Но, если бы Базаров заговорил, он должен был бы сказать то, что̀ уже тогда думали русские социалисты-народники.

Тургенев подошел к новому поколению с той стороны, какая была доступна его наблюдению, и изобразил его с любовью истинного художника и вдумчивостью мыслящего человека. На почве демократизма и позитивизма Тургенев без труда сошелся бы с демократами шестидесятых годов. Вслед за Герценом он мог бы сказать: „мы с детьми Базарова встретимся симпатично, и они с нами—без озлобления и насмешки“.

Так оно и случилось. Но дело не обошлось без размолвок. Базаровы, как это понимал и сам Тургенев, стояли „в преддверии будущего“. Рахметовы и Базаровы сняли, наконец, с себя печать молчания и объявились народниками—революционерами. Русский социализм вышел на работу. Началось знаменитое „хождение в народ“. Рядом с мирными пропагандистами (лавристами) шли народники—бунтари (бакунисты). Различаясь тактикой, народники вдохновлялялись одной верой в социализм русского народа—общинника. Близкий к Тургеневу Герцен и друг последнего Огарев активно примыкали к движению. Не только „дети“, но и часть отцов ринулась на встречу социализму.

Более, чѐм когда либо, почувствовал себя Тургенев на грани двух культур, и тревога закралась в его сердце. Нет ли тут роковой ошибки?

Еще в 1862 г. петербургские пожары, которые, как известно, молва приписывала нигилистам (Базаровым), настроили его весьма сумрачно. „Эти безумия, эти злодеяния, весь этот хаос“ поведут к усилению реак-

ции, и она „будет до некоторой степени оправдана. Государственная безопасность прежде всего“ (М. М. Стасюлевич и его современники, III, 487).

В конфликте государственности с воинствующим социализмом выбор для Тургенева предрешен—в пользу первой. Какова объективная значимость социализма? Чтобы уяснить положение вещей, Тургенев вступает в полемику с Герценом и Огаревым, как перед „Дворянским гнездом“ он спорил с Аксаковыми.[1])

Тургенев не верил „ни в какие абсолюты и системы“, не верил и в социализм. „Не обладая большою долею изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами“, признавался Тургенев. Таков он был как художник, таков же он был как мыслитель и общественный деятель. Отчетливо различая реальные краски хорошо знакомой действительности, его ясная, даже несколько скептическая мысль не рисковала уноситься слишком высоко от земли или слишком далеко за пределы настоящего[2]).

С другой стороны, подобно Достоевскому, Тургенев боялся социализма, видя в нем умаление прав личности. „Что делать?“ говорил он Герцену в конце 60-х годов: „я останусь индивидуалистом до конца, и новое слово, выдуманное Бакуниным—congrégationiste—меня не подкупает: нарушение личной свободы я вижу также и в том, что он довольно смутно желает представить“ (за „право личности“ сражался Тургенев и против К. Аксакова).

---

[1]) Немалый психологический интерес представляет вся история знакомства Тургенева с Герценом (ср. между прочим его роль в процессе 32-х,—в книге М. К. Лемке „Очерки освобод. движения 60-х годов“). Но я имею в виду лишь идейные разногласия Тургенева с Герценом.

[2]) Тургенев понимает Ж. Санд, когда она писала свой роман „Франсуа ле Шампи“, погрузившись в искусство наивное и прикрепленное к земле: „ей выше головы надоели всякие социалисты, коммунисты, Пьеры Леру и другие философы“ (к Виардо 17 янв. 1848 г.).

Вся идеология русского социализма 60—70-х годов казалась Тургеневу ошибочной в самом корне. Обычную в устах Герцена и других народных социалистов антитезу Запада и России, Запада „прекрасного снаружи и безобразного внутри, и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри“, Тургенев считал просто „фальшью, которая потому еще держится даже в замечательных умах, что она, во-первых, не сложна и удобопонятна, а вовторых, а l'aire d'être très ingenieuse et neuve“. На теории народнического социализма явственно видны „белые нитки и истертые локти“; ее ожидает „зияющая могила, где она будет лежать en très bonne compagnie вместе с философией Гегеля и Шеллинга, французской республикой, родовым бытом славян и—дерзну прибавить—статьями великого социалиста, Николая Платоновича“ (т. е. Огарева). „По моему мнению“, писал Тургенев Герцену в 1867 г., „ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь: мы сидим в одном мешке, никакого за нами „специально нового“ слова не предвидится“. Значит, излишне говорить о каких-то своих, новых путях культуры. Путь один: это—путь европейской цивилизации.

Народнический социализм в сущности не что иное, как социалистическое славянофильство. „Социально-славянофильская брага“ отуманила голову, заставляя адептов „мистически“ преклоняться перед русским тулупом, видеть в нем „великую благодать и новизну, и оригинальность будущих общественных форм“.

Да, мужик—сфинкс, таинственный незнакомец. „Только где твой Эдип?“ спрашивал Тургенев.—„Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о, всероссийский сфинкс!“ Не угадали сфинкса славянофилы, не угадали и социалисты-народники. Славянофилы смело выдавали свои воззрения за „народную правду“. Точно также социалисты рисовали

облик народа по своему образу и подобию. В обоих случаях—социальное мифотворчество. Община, артель и земство „в щаповском смысле“, доказывал Тургенев Герцену, не более, как абстракция, выведенная „немецким процессом мышления“ из „едва понятной и понятой субстанции народа“. От общины „Россия не знает, как отчураться“, а артель покоится на бесчеловечно-эксплоататорских началах“, далеких от fraternité или хоть от Шульце-Деличевской ассоциации. В действительности же мужик—„консерватор par excellence и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе, теплой и грязной избе, с вечно набитым до изжоги брюхом и отвращение ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности, что далеко оставит за собою все метко-верные черты“, которыми Герцен изображал западную буржуазию. В деревне нарождается и забирает силу кулак-мироед. Тургенев предполагал изобразить этот тип в рассказе „Всемогущий Житкин“[1]).

Приписывать русскому мужику социализм, как своего рода врожденную идею, значит возвращаться к das Absolute идеалистической философии. Герцен сам—„враг мистицизма и абсолютизма“. Так пусть он вспомнит о законах науки: истории, филологии и статистики. Наука и притом только одна наука может в истинном свете представить нам „всеведомого бога“, которому народники воздвигают алтари; наука не может оправдать надежд на „новодолженствующего придти Рассейского Мессию“.

Поэтому, по мнению Тургенева, Герцен сделал большую ошибку, предоставив в „Колоколе“ полный простор Огареву и Бакунину; „публике, читающей в России „Колокол“, не до социализма“, писал он Герцену 3 дек. 1862 г.: „она нуждается в той критике,

---

[1]) Н. М. Гутьяр. И. С. Тургенев, 194—197.—Н. Л. Бродский. Замыслы И. С. Тургенева, стр. 12—15.

в той чисто политической агитации, от которой ты отступил, сам надломив свой меч" [1]).

Намерения социалистов могут быть очень хорошими, но трудно представить их себе за планомерной культурной работой. Еще осенью 1864 г. у Тургенева созрел план повести с социалистом в качестве главного героя. Образованный молодой человек, занятый решением социального вопроса, кончил порудински: уезжает в Америку и там погибает за свободу негров[2]).

Всего печальнее,—думал Тургенев,—то, что погоня за далекими идеалами мешает достижению ближайших целей. Целей огромной важности. Народ освобожден. Каковы бы ни были недостатки акта 19 февраля, именно с него начинается „новая эра России". Крестьянская реформа—„дело громадное" и составит „полный переворот в русской жизни, который оценят только наши потомки" (письмо к Полонскому от 14 июля 1861). За ней пойдут да и идут уже другие крупные реформы. Работы для интеллигенции сколько угодно. Взять хотя бы—освобождение народа „от рабства невежества". Ведь с давних времен „роль образованного класса в России быть передавателем цивилизации народу с тем, чтобы он сам уже решил, что ему отвергать или принимать"[3]). Задачи и пути—так ясны. А между тем—вокруг хаотическая бестолочь. Реформы тормозятся. Начавшееся революционное движение ведет к усилению реакции. Крепостники всё смелее и смелее возвышают свой голос.

Охваченный новым пароксизмом душевной тревоги, Тургенев пишет свой роман „Дым" (1867). В „Дво-

---

[1]) В служебной записке 1842 г. („Несколько мыслей о русском хозяйстве") Тургенев также полагал: „системы фурiеристов о разделе земель и равенство имений везде нелепы, но в России даже невозможны".

[2]) Н. Л. Бродский. Замыслы И. С. Тургенева, стр. 23—25.

[3]) В 1860 г. Тургенев выступал с чрезвычайно плодотворной идеей „общества для распространения грамотности и первоначального образования".

рянском гнезде" автор подвел уныло-поэтические итоги дворянскому периоду. „Дым"—скорбный итог тем явлениям, которыми ознаменовалось наше вступление в новый культурный период. Опять—беспочвенное общество. Собирается оно в Баден-Бадене под пресловутым „русским деревом" (l'arbre russe). Это—символ. Чьими руками посажено это историческое дерево, под тенью которого русские люди ведут свои споры о судьбах России, ради которого они забыли про свои родные липы. Зловещая тень символического дерева падает и на кружок Губарева. С большим сарказмом вычерчивал Тургенев свои гейдельбергские арабески.[1]) Без конца жуют губаревцы социалистическую жвачку, без вкуса и соку, как дети гуммиластик. Нашим социалистам,—рассуждает Потугин,—не хватает образованности и знания жизни. „Поднять старый стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фуріе, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней"—это они умеют; статейку настрочить о французском пролетариате это—тоже их дело. А подлинной науки они не знают, жизни не изучают. Берутся рассуждать о самых трудных задачах общественной науки, но норовят обойтись без фактов и выехать на одном красноречии. Рановато орлом-то взвиваться: много еще темной, подземной работы, на подобие кротов. Вот о чем подумать надо.

Посмотришь кругом: какая-то фантасмагория вместо жизни. „Всё дым и пар", думал Литвинов: „всё как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности всё то же да то же; всё торопится, спешит куда-то и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер по-

---

[1]) Ценный в фактическом отношении корректив к роману Тургенева дает С. Г. Сватиков в статье: „И. С. Тургенев и русская молодежь в Гейдельберге (1861—1862)" (журнал „Новая Жизнь" 1912, дек.).

дул и бросилось всё в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра". Всё так зыбко под ногами. Ритм жизни разладился [1]).

Таково всё людское, но особенно всё русское. Еще в самом начале „эпохи великих реформ", приглядываясь к необычайно быстрому разложению старого и не питая твердой веры в новое, Тургенев был смущен „всеобщей *газообразностью* России" и думал: „мы еще далеки от *планетарного* состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях, в самом народе этого нет" (письма к гр. Ламберт, 113, 121; ср. ibid. на 20 стр. о русском Левиафане). Прошло несколько лет, надежды на „планетарность" прибавилось немного, но все-таки прибавилось.

„Весь поколебленный быт", писал Тургенев в романе „Дым", „ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово „свобода" носилось, как Божий дух над водами". Если так, значит, еще не всё погибло. Левиафан всё-таки двинулся: Россия реформируется. Потугин нащупал твердый материк: это—испытанная веками европейская ци-ви-ли-за-ци-я. И он напутствует отъезжающего в Россию Литвинова советом служить цивилизации „в точном и строгом смысле слова", обнадеживая, что тот не будет „сеятелем пустынным" [2]).

Писарев, отозвавшийся на „Дым" обширным и интересным письмом, не обиделся за сцены у Губарева (они кажутся ему случайным эпизодом, „пришитым к повести на живую нитку"), но вменяет автору в

---

[1]) По поводу романа Писемского „Взбаламученное море" (1863) Тургенев писал (19/31 янв. 1866 г. Щук. Сб. VIII, 372): „Все наши т. н. направления—словно пена на квасу: смотришь—вся поверхность покрыта—а там и ничего нет и след простыл".

[2]) Замечательная повесть „Пунин и Бабурин" (1874) подкрепляет это впечатление: представляя поэтическое резюмэ дореформенной жизни на протяжении трех десятилетий, она заканчивается бодрым аккордом во славу манифеста 19-го февраля.

тяжкий грех отсутствие в романе Базарова. Ведь Базаров не умер в 1859 г. от пореза пальца: он жив и здоров и остается самим собою. Отсутствие Базаровых в общей картине „Дыма“ отнимает у романа „всякое серьезное значение“. Критик однако забыл, что роман Тургенева есть, прежде всего, повесть писателя об его субъективных переживаниях, воспроизведение того, чем ему казалась тогда русская жизнь.

В действительности Тургенев не упускал из виду Базаровых. Цели, ради которых совершалось „хождение в народ“, были дороги и ему; народное благо и свобода России составляли предмет и его всегдашних дум. Образами Бабурина и Музы („Пунин и Бабурин“, 1874) он сочувственно напомнил о „новом типе“ людей, вышедших из мещанской среды и еще в дореформенное время преданных интересам народа. Тургенев не мог только вторить возбужденным голосам народников-революционеров, не мог смотреть на народ их глазами.

С благородной прямотой честного художника изобразил Тургенев тех, кто „ходил“ в народ. „Новь“ (1876) стоит во главе небольшого цикла его произведений и „замыслов“.

В „Нови“ нет той свежести настроения, с какой Тургенев в свое время воплощал образ Базарова. Но зато здесь больше спокойствия и, следовательно, беспристрастия, чем в „Дыме“. На последнем — так ярка печать еще не остывшей полемики с Герценом, и Губарев явно поплатился за Огарева. Теперь Герцена уже не было в живых. Но народно-социалистическое движение продолжалось, становясь всё более и более интенсивным. К 1876 г. как раз возродилось общество „Земля и воля“.

Что же за люди действуют теперь? Одни ли Губаревы?

А. П. Философова усиленно старалась познакомить Тургенева с образом мыслей и личными качествами

„новых людей“ и прислала ему несколько характерных „документов“[1]). Тургенев не разделил ее восторгов, даже по отношению к тому юноше, которого она именовала русским Лео. „За исключением дневника, поразившего меня своею честною *правдивостью*[2]) и неподдельным *энтузиазмом*[2])“, писал Тургенев А. П. Философовой 6 авг. 1874 г., всё остальное „может служить материалом... только с сатирической, юмористической точки зрения“. Мелкое самообожание и изумительная бездарность (Лео писал стишки), догматический тон при полном невежестве—вот их черты. Из таких молодых людей „никогда ничего не выходит“. Тургенева не смущает самая резкость мнений, а изумляет „эта пустота, воображающая, что она „на 20-м году жизни уже разрешила все вопросы науки и жизни“ (textuel)“[3]). „Нет, любезнейшая А. П.“, заканчивает Тургенев свое письмо, „это еще не новые люди; я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименование. Зато в дневнике высказывается *прекрасная, свободная душа*[2]), которой я от всего сердца желаю счастья, т. е. исполнения ее заветных надежд и намерений, клонящихся к *добру* и *благу меньшей братии*“[2]). А в следующем письме к той же Философовой (от 18 авг. 1874 г.) Тургенев прибавляет: „Я бы мог назвать вам молодых людей, с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми— перед которыми я, старик, шапку снимаю, потому что

---

[1]) Письма Тургенева к Философовой цитирую не по изданию Литературного фонда, а по исправленной редакции из „Сборника памяти А. П. Философовой“, т. II. О бумагах, переданных Философовой, см. также в воспоминаниях Н. А. Островской (Тургеневский Сборник, под ред. Н. К. Пиксанова, стр. 123 и след.).

[2]) Курсивы мои.

[3]) В другом письме (от 21/9 сент. 1874 г.—Щук. Сб. V, 466) Тургенев утверждал, что „молодые „Базаровы“ перевелись, да их никогда много не было. Теперешние *новые* люди не умны и безстрастны: довольно пресная порода“.

чувствую в них действительное присутствие силы и таланта и ума“.

Вот в чем вопрос. Ведь дурак может испортить всякое дело, и дуракам Тургенев не давал пощады (ср. его стихотворение в прозе „Дурак“, 1878 г.). Но самое дело, направленное „к добру и благу меньшей братии“, не виновато. Когда „дым“ несколько рассеялся, и в душе писателя стало водворяться относительное спокойствие и ясность,—он разглядел красивые силуэты „новых людей“, правдивых энтузиастов, людей с прекрасной и свободной душой.

К лавризму Тургенев относился с полным сочувствием. Он даже субсидировал (ежегодным взносом в 500 франков) журнал П. Л. Лаврова „Вперед“, находя деятельность редактора „полезной“ и ведение журнала „дельным“. 13 июля 1873 г. Тургенев писал П. Л. Лаврову: „Программу Вашу я прочел два раза со всем подобающим вниманием: со всеми главными положениями я согласен“. У него есть только одно возражение: „Мне кажется, что Вы напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов, либералов и даже называете их врагами, мне кажется, что переход от государственной формы, служащей им идеалом, к Вашей форме — ближе и легче, чем переход от существующего абсолютизма — тем более, что Вы сами плохо верите в насильственные перевороты и отрицаете их пользу. А подобное заявление с Вашей стороны на счет либералов и парламентарных людей — многих из них отгонит прочь, испугает“ (Мин. Годы, 1908, авг., стр. 23). В полемике Лаврова с Ткачевым (издателем „Набата“) Тургенев считал правым первого, „но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтобы можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное“ [1]).

---

[1]) Эти отношения не помешали Тургеневу, въ виду особых обстоятельств, „отречься“ от Лаврова в 1882 г. См. Р. Пропилеи, III, 275. Ср. также у М. П. Драгоманова „Воспоминания о знакомстве с И. С.

В 1868 г. Тургенев взял под свою защиту память Артура Бенни [1]). А через одиннадцать лет после этого способствовал появлению в печати записок И. Я. Павловского-Яковлева (En cellule. Impressions d'un nihiliste), присоединив в предисловии свою благожелательную характеристику русского нигилиста („Vous verrez que ces nihilistes dont il est question depuis quelque temps, ne sont ni si noirs, ni si endurcis qu'on veut bien les représenter". Р. Пропилеи, т. III, стр. 258). Лестно отзывался Тургенев о литературных работах Степняка-Кравчинского и советовал ему „трудиться на этом поприще". С интересом отнесся он в 1879 г. к роману Ашкинази из жизни террористов „Les victimes du tsar" (1881). Сильно привлекала его также личность Германа Ал. Лопатина; он придумывал, как бы помочь Лопатину, арестованному петербургской полицией, и радовался его благополучному бегству из ссылки (из Вологды в 1883 г.).

Эти разновременные факты достаточно определяют позицию Тургенева по отношению к новым людям и их делу [2]). Очевидно, что как раньше, когда шла речь о нигилизме Базаровых, так и теперь он ни в коем случае не мог бы написать памфлета на „хождение в народ". Обиженная за своих протеже, А. П. Философова не совсем деликатно еще раз кольнула Тургенева тем, что в Базарове он будто бы хотел представить каррикатуру на молодежь. Писатель резко отверг этот „бессмысленный упрек", эту „клевету" (письмо от

Тургеневым" (загран. издание или Казань, 1906), и в издании „М. М. Стасюлевич и его современники" (под ред. М. К. Лемке), т. III, 240—244. — См. еще въ воспоминаниях Н. А. Островской (Турген. сборник, 101—102).

[1]) Русские Пропилеи, III, 174—175. Идеалы Бенни однако Тургенев называет „несбыточными". Об отношении Тургенева к Бенни и к процессу 32-х — см. в книге М. К. Лемке „Очерки освободит. движения „шестидесятых годов". — Ср. еще в письме к Марко Вовчок от 31 авг. 1862 г. (Мин. Годы, 1908, авг., 95).

[2]) Занимающий нас вопрос хорошо освещен в статье М. М. Клевенского „И. С. Тургенев и семидесятники" (Голос Минувшего, 1914, № 1).

18 авг. 1874). Демократ-нигилист не был в глазах Тургенева юмористической фигурой. Точно также и народник-социалист, как известный общественный тип. Около Базаровых трутся Аркадии Кирсановы, так точно рядом с Маркеловым, Неждановым, Марианной и Соломиным всегда найдешь какого-нибудь Голушкина. На фоне Калломейцевых и Сипягиных так четко и симпатично выступают фигуры народников. Но художник не льстил им: он показал, что их пропаганда обречена на неудачу, что они не встретят сейчас отклика в народе, что более всего прав трезвый постепеновец Соломин [1]).

В письме к М. М. Стасюлевичу от 3 янв. 1877 г. (22 дек. 1876) Тургенев с полной ясностью изложил те „соображения“, которые руководили им при сочинении „Нови“. Вот они („М. М. Стасюлевич и его современники, III, 102—103): „Молодое поколение было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что во первых несправедливо, а во вторых могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; — либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо — и сверх того вредно. — Я решился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; — взять молодых людей, большей частью хороших и честных — и показать, что не смотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно — что не может не привести их к полному фиаско... Во всяком случае молодые люди не могут сказать, что за изображение их взялся враг; они, напротив, должны чувствовать ту симпатию, которая живет во мне — если не к их целям — то к их личностям. —

---

[1]) В формулярном списке Соломина, — сообщал Тургенев Стасюлевичу (М. М. Стасюлевичъ и его современники, т. III, 93), — главным его эпитетом значилось „трезвый“.

И только таким образом может роман написанный для них и о них — принести им пользу“ [1]).

„Деревня, придуманная „Неделей“, как своего рода панацея для интеллигента, относится к категории тех чудодейственных средств, которыми русский человек думает „излечиться разом, как зуб заговорить“: то это — естественные науки, то война, то какой-нибудь герой и т. д. С подобными абсолютными надеждами шли в деревню наши социалисты. Пока они „бродят ощупью в темноте“, но не беда: Бог даст „выберутся.,. хотя и им не предстоит срывать розы и нежиться“ (письма к Полонскому от декабря 1876 г).

Для народной массы нужно еще нечто более элементарное, чем социализм. Нужно посмотреть на народ без всякой предвзятости и брать его таким, каков он есть. Богатые задатки — несомненны. Порукой — русский язык. Он — „удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе“, писал Тургенев гр. Ламберт в конце 50-х годов, предваряя идею своего знаменитого стихотворения в прозе. „Странное дело!“ продолжает он рассуждать: „Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы — нет в народе, а в языке они есть... Значит, будут и в народе“ [2]).

Дело в том, что, как писал Тургенев 11 сент. 1874 г. А. Н. Философовой, „народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего хорового развития, разложения и сложения“. Не забудем, что еще вчера мужик был крепостным. В его жизни совершается сложный процесс развития, который может быть очень медленным и тягостным, как и всякий процесс коллективного, хорового воспитания. На очереди самые

---

[1]) Въ литературной оценке „Нови“ Тургенев сильно колебался. Был момент, когда он считал этот роман „вещью неудавшеюся“ (Стасюлевичъ и его современники, III, 120).

[2]) Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт, стр. 64. — Русский язык сравнивается здѣсь с французским. Еще раз Тургенев возвращается к этой параллели на стр. 78. Русский язык называется „молодым, свежим, неуклюжим, но здоровым языком“.

простые и на первый взгляд маленькие дела: „учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д.“ [1]). При этих условиях народу нужны не вожаки, не красивые герои, а скромные культурные работники, „только полезные люди“. Можно пока обойтись и без особенных талантов, главное же — трудолюбие, терпение и сердце, способное жертвовать собой, работать „без всякого блеска и треска“, не гнушаться самой мелкой и темной работой.

Интеллигент должен стать „в ряды полезных рабочих и *народных* слуг (как некогда были царские слуги)“.

Этими мыслями и определяется основная „идея“ романа „Новь“. Конечно, проповедь „малых дел“, подхваченная в 80-х гг. (напр., Абрамовым) и ставшая потом одиозной, не могла удовлетворить пылких социалистов-народников 70-х годов. [2]).

В 1876 г. в Женеве вышел сборник стихотворений „Из-за решетки“. Составители сборника (а в их числе был и Г. А. Лопатин, которого тогда считали „отчасти“ прототипом Нежданова) упрекнули автора „Нови“ в том, что он „содействовал искажению образа нашего мученика правды ради“. В письме к Драгоманову от 19 дек. 1877 г. Тургенев кратко ответил на это обвинение следующими словами: „При данных условиях, я мог

---

[1]) „Народ без образования (я употребляю это слово в смысле *гражданском*, не в ученом или литературном смысле)“, писал Тургенев гр. Ламберт 15 июня 1861 г., „всегда будет плох, не смотря на всю свою хитрость и тонкость. Надо, с одной стороны, вооружиться терпением, а с другой — стараться *учить* их...“. — Очевидно, проникшись этими взглядами, графиня упрекала Тургенева за то, что он не хочет написать „простой и нравственной повести для народа“. Нашему писателю пришлось доказывать, что художники не творят по заказу, и что в частности он сам не пишет повестей для народа потому, что „тут нужен совсем другой склад ума и характера“. „Но почему Вы знаете“, прибавляет Тургенев, „что я двадцать раз не пытался что-нибудь сделать в этом роде, и не бросилъ этого наконец, потому что убедился, что это не по моей части, что я этого *не умею?*“ (письмо от 9 мая — 27 апр. 1863 г.).

[2]) Ср. в статье Н. С. Русанова „Из литературных воспоминаний“ — Былое, 1906, дек., стр. 39—40.

сделать только то, что сделал — и, повидимому, результат не совпадает с выводами и заключениями моего критика“. По требованию цензуры Тургеневу, действительно, пришлось выкинуть из „Нови“ две сцены: разговор Маркелова с губернатором после ареста и главу о хождении в народ Марианны.

Драгоманов, с своей стороны, находил некоторые „неясности“ в романе и полагал, что такому писателю, как Тургенев, надлежало бы занимать положение, совершенно независимое как от молодых революционеров, так и от русского правительства и, если нужно, печататься за границей без цензуры.

Вопрос, конечно не в одной цензуре, а в том, как Тургенев понимал самые явления и их результат. В ином тоне и в ином освещении те же лица и явления выступают, напр., в романе „Василиса“ (1879) Н. А. Арнольди, „Les victimes du tsar“ М. Ашкинази (1881) или в более позднем романе Степняка Кравчинского „Андрей Кожухов“ (1889). Авторы—участники событий. Тургенев наблюдал со стороны, и ему виднее были недостатки. Но он не исказил перспективы движения и не ошибся в оценке его. результатов. По словам Драгоманова, даже в женевской русской эмиграции нашлись люди, „которые остались вовсе не недовольны „Новью“. Ну а впоследствии, когда народники стали подводить итоги и писать мемуары, они блестяще подтвердили, насколько автор „Нови“ был прав в своем диагнозе. Лучше, чем молодые энтузиасты, понимал Тургенев психологию народа, его неподатливость к влиянию вообще и к усвоению социализма в частности.

Зимой 1879-1880 гг. Тургенев говорил в кружке писателей-народников: „Хождение в народ не удалось... Да и могла разве удаться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа

иной раз к полштофу... особливо ежели день о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать мужику, чтобы он не думал того и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик всё понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять“ [1]).

Сколько раз интеллигенция жаловалась, что народ не оправдал „наших надежд“. Очевидно, налицо нет необходимейшего условия — взаимного понимания. „Чернорабочий“ продолжает видеть в интеллигенте „белоручку“, хотя бы то был народолюбец-революционер. Целых шесть лет носил революционер кандалы за то, что желал народу добра, а народ равнодушно смотрит на его казнь и думает лишь о том, „нельзя ли той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут“: „говорят, ба-альшое счастье от этого в дому бывает“ (стихотворение в прозе, 1878 г.). Те, которые бросятся в политику, „только даром погубят себя“, говорил Тургенев А. П. Философовой (11 сент. 1874). Трагизм в том, что это самое порою сознавали и революционеры. В листках „Народной Воли“ за 1879 г. (№ 1-й. окт. 1-го) напечатан отрывок анонимной драмы „Последняя исповедь“. Осужденный на казнь юноша слышит, как за стенами тюрьмы зловеще гудит толпа, жадная до кровавых зрелищ. Тяжело сознавать, что вместе с врагами народа толпа посмеется над трупом того, кто безропотно бросил „дом родимый, отца и мать“ и лишь народу, „как бы отшельник Богу“, „посвятил всю жизнь, все силы духа“. Остается одно — показать, „как надо умирать“, и — кафедру создать из эшафота.

---

[1]) Н. С. Русанов. Из литературных воспоминаний. Былое, 1906, дек., стр. 46. Для иллюстрации Тургенев рассказал далее случай, который хотел описать под заглавием „Повиноваться“.

Тургенев не был бы поэтом, если бы не чувствовал духовной красоты подвига, на который с таким беззаветным самоотвержением шла народолюбивая молодежь. Не забудем, что из двух мировых типов к Дон-Кихоту Тургенев отнесся более сочувственно, чем к Гамлету (в речи 1860 г.). Стихотворение в прозе „Порог“, впервые напечатанное в листках „Народной Воли“, рисует трогательный образ девушки, которая мужественно перешагнула порог таинственного здания и смело вступила в непроглядную тьму, дышавшую на нее ледяным холодом. Девушка готова на всё: на холод и голод, на ненависть, насмешки, презренье и обиду, на полное одиночество, на тюрьму, болезни и самую смерть, на безыменную жертву и даже на преступленье; готова идти и в том случае, если бы ее ожидало полное разочарованье. „Дура!“ проскрежетал кто-то сзади. „Святая!“ пронеслось откуда-то в ответ[1]).

По предположению П. Л. Лаврова, „Порог“ (1882) написан под впечатлением суда над Перовской и ее товарищами. Политические процессы народников не раз потрясали общественное внимание, и люди, чуждые их среде, проникались к ним уважением, а иногда и благоговением. В период „Нови“ и после этого Тургенев, видимо, испытывал к „новым людям“ то же „влеченние, род недуга“, что в свое время к Базарову. Замечательно, что под влиянием „современных дел и людей“, людей „отчаянных каких-то“, вспомнились Тургеневу „отчаянные“ люди прежнего времени (повесть „Отчаянный“ 1881), Миша Полтев, проявляющий „беспредметную“ отчаянность, не похож на нынешних отчаянных, но в конце концов, „иной философ и нашел бы родственные черты между им и ими“.

---

[1]) Основательно опасаясь, что „Порог“ нельзя будет напечатать вместе с другими стихотворениями в прозе, Тургенев „однако не хотел, чтобы последние слова были изменены“ („М. М. Стасюлевич и его современники“, III, 210).

Полтев одно время выставил для себя девиз „к *добру* скорей!“ и тосковал оттого, что размышлял „о бедности, о несправедливости, о России“. Ему гадко и совестно жить побарски, когда „народ-мол наш трудится“. Тургенева глубоко захватывает психология русского социалиста, столь не похожего, напр., на французского. Как будто Тургенев разделял мнение „человека в серых очках“, что французы—не социалистические головы, и что социализм скорее привьется в России. Он задумывал писать продолжение „Нови“, которая, по его словам, не кончена: „там прямо оборваны нити“. У Тургенева накопился для этого уже богатый и интересный материал. Между прочим с огромным интересом следил он за ходом процесса 52-х, жалея, что он не может лично присутствовать на суде. Прося свою корреспондентку прислать „несколько заметок насчет юных нигилисток, которых судят теперь в Петербурге“, Тургенев замечает: „Факт, что из 52-х подсудимых (революционеров) 18 женщин—такой удивительный, что французы, например, решительно ничего в нем понять не могут! А меня упрекали критики—что „Марианна“ у меня сделанная!“ (Щук. Сб., V, 491; письмо от 13/1 марта 1877 г.; ср. письмо 17/5 марта 1877; ibid., 493) [1]). Перед Тургеневым уже отчетливо вырисовывался образ социалиста-мистика, способного отречься от себя и от всего, чем люди дорожат и дорожили во все века. „Право, только русский человек может выдумать и быть способным на такую штуку“. У французского революционера—много формализма и шаблонности, он любит действовать по трафарету, по формуле, идти по утоптанному руслу. А русский „вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопросов и исканьем правды“. Мы, русские, народ—

---

[1]) См. также письма к Стасюлевичу от 11 марта—27 февр. 1877 г. (М. М. Стасюлевич и его современники III, 117—118).

молодой; „еще духовно прогрессируем, растем, ищем истины, новых форм жизни, красоты и пр.“[1]).

В „Воспоминаниях о знакомстве с И. С. Тургеневым“ Драгоманов (227) передает со слов одного своего приятеля (человека умеренно-либеральных мыслей и не эмигранта), „что раз, когда он сидел ночью у кровати Тургенева, у которого болезнь было очень обострилась, то слышал, как Тургенев, который часто сводил речь на революционное движение в России, бормотал в забытьи: „а всё-таки „террористы“ великие люди“. „Было бы слишком поспешно выводить отсюда“, замечает Драгоманов, „что Тургенев вполне сочувствовал тогдашним русским „террористам“,—но и эта подробность в связи с другими, рассказанными нами, а также с духом всех напечатанных выше писем Тургенева, показывает несомненно одно,—а именно, что И. С. был в идеях своих решительным противником абсолютизма в России“.

Последнее—безусловно верно, но также несомненно, что к социалистическому террору Тургенев относился вполне отрицательно. С нескрываемым осуждением высказывался он о таких событиях, как возможное участие „агитаторов“ в петербургских пожарах 1862 г. („Литер. воспоминания“ Анненкова, 559), как покушение на товарища прокурора Киевской Палаты (Котляревского) 23 февр. 1878 г., как вооруженное сопротивление Ковальского с товарищами в Одессе 30 янв. 1878 г. и как выстрел Веры Засулич. Последняя история,—писал Тургенев Стасюлевичу (III, 151),—„взбудоражила решительно всю Европу“. Из Германии предложили автору „Нови“ написать статью об этом процессе, „так как во всех журналах видят

---

[1]) См. в брошюре Н. Л. Бродского „Замыслы И. С. Тургенева“, стр. 26—33.—Также в воспоминаниях Рольстона (Иностранная критика о Тургеневе, 190—191). Ср. современное „скифство“ с подобной же антитезой (статьи Иванова-Разумника в журн. „Наш Путь“, 1918, № 1).—

интимнейшую связь между Марианной „Нови“ — и Засулич—и я даже получил—название: der Prophet“[1]).

Вскоре после названных событий к Тургеневу обратился известный Мих. Ашкинази с своим романом „Les victimes du tsar“, в котором старался показать психологическую неизбежность террора (как потом Степняк-Кравчинский в романе „Андрей Кожухов“). Тургенев не только заинтересовался романом, но и принимал некоторые меры, чтобы он мог появиться в печати. „Направление“ романа однако его не удовлетворяло. „Вы одобряете политические убийства“, говорил он автору уже в 1881 г.: „Я же никогда никакое убийство не могу одобрить... Я так же оплакиваю царя, как оплакиваю его убийц“. Психологию террористов Тургенев всё-же понимает: „Наша молодежь—святая молодежь. Это всё мученики какие-то.. Я не одобряю убийств, но наших революционеров, которые идут в деревню, как агнцы на заклание, третье отделение своим изуверством превращает в отчаянных, способных на всякое злодеяние... Все наши политические преступления результат жестокости шефа жандармов. Если вы сумеете художественно изобразить эту идею, ваш роман произведет впечатление и будет очень полезен“[2]).

На искателях правды, истины, красоты, новых форм жизни, словом, на идейных стремлениях русской молодежи более всего сосредоточивается творчество Тургенева, когда он говорит об общественных явлениях.

---

[1]) Ср. письмо к Полонскому от 5 апр. 1879 г.—Тургенев не одобрял даже политической демонстрации у Казанского собора (6 дек. 1876 г.), называя ее „уличной нелепостью“, „грязной пеной, от времени до времени выскакивающей на поверхность всякого общества“ („М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Под ред. М. К. Лемке—т. III, 102. Ср. письмо от 28—16 дек. 1876 г. в Щук. Сб. V, 483). А между тем эта демонстрация имеет существенное значение в истории нашего революционного движения. Между прочим здесь впервые выступил Г. В. Плеханов. Нелишне, конечно, вспомнить и известный ответ Тургенева „Иногороднему обывателю“ (1880), т.-е. Бол. Маркевичу, хотя он и был написан при особых обстоятельствах.

[2]) М. О. Ашкинази. Тургенев и террористы. Минувшие годы, 1908, авг.

Этот мотив стоит у него рядом с другим, также излюбленным мотивом—женщина и любовь.

В жизни Тургенева бывали моменты очень острых размолвок с радикальной молодежью. Но в конце концов для всех стало ясно, что его творчество находится в глубокой духовной связи с современными ему течениями русской жизни. Это прекрасно выражено в статье (П. Ф. Якубовича), напечатанной в листке „Народной Воли“ (в сентябре 1883 г., по случаю смерти Тургенева). „Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, „постепеновец“ по убеждениям“, читаем здесь, „Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя, своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции... Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы,—то страшных сомнений, то беззаветной готовности на жертву“. Его героям нередко подражала молодежь; вызванные из глубин русской жизни, они сами создавали жизнь. „Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение“[1]).

Собиралась гроза социальной непогоды. Один за другим гибли челноки с отважными пловцами, направлявшими свой парус в ту „блаженную страну“, что чудилась за „далью непогоды“. Тургенев оставался на берегу, но не равнодушным зрителем. Глубоко переживал он свои впечатления, питая живое сочувствие к неудачникам и жертвам. Писатель большого дарования, Тургенев неизменно сохранял ту внутреннюю свободу, которую считал необходимым условием творчества. Его творческая мысль, идеологически независимая, держалась на высоте социально-

---

[1]) Интересна в этом отношении также статья П. Л. Лаврова в „Вестнике Народной Воли“, № 2, под заглавием: „И. С. Т. и развитие русского общества“.

политических запросов эпохи. Правда, социальная проблема в понимании и творчестве Тургенева не получила ни того религиозно-философского углубления, что́ у Достоевского, ни того мирового размаха, что у Толстого[1]. Тургенев не выходил за пределы очередных задач момента. Но он с честной настойчивостью стремился к тому, чтобы осветить извилистый путь нашего национального развития в критическую эпоху истории и спасти культуру, как цивилизующее начало. Разгадать вполне загадку русского сфинкса это — дело следующих и притом многих поколений. А Тургенев, как в сущности и мы, лишь на грани двух культур. Хорошо еще, что сфинкс не поглотил его: хотя частично, но ответы Тургенева удовлетворяли это огромное и мрачное существо. Глаз нашего художника не обладал способностью различать слишком далекие звезды, но на известном расстоянии зрение его было острым и четким. Ни близорукостью ни дальтонизмом Тургенев не страдал.

IX.

Философия жизни.

Тургенев — один из самых грустных писателей. M-me Viardot прозвала его „le plus triste des hommes“ [2]. У него почти нет счастливых героев и счастливых развязок. Счастливыми могут быть только Фомушки и Фимушки Субочевы, каким-то чудом уцелевшие на забытом судьбою островке. Как у Чехова, счастливы только ограниченные люди, те, которые после тяжелой драмы, разыгравшейся перед ними, могут, позевывая,

[1] Толстой, как мировой мыслитель, не был понят Тургеневым, и гр. А. А. Толстая во многом была права, утверждая, что „Тургенев, по складу своего ума, не мог понять глубину души Льва“ (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб. 1911. Стр. 17).

[2] Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт, стр. 147.

сказать: „Давно уже я, грешница, лапши не ела!“ (Марина в пьесе „Дядя Ваня“). Напрасно, Я. П. Полонский указывал Тургеневу, что глава о Субочевых— лишняя в „Нови“. Напрасно, и он сам готов был согласиться с этим, объясняя ее появление „капризом“ (письмо к Полонскому от 22 янв. 1877 г.). Очевидно, он включил ее, повинуясь художническому „капризу“, т.-е. инстинктивному желанию нарисовать антитезу [1]).

Страшно не только то, что находится в области фантастического и потустороннего, — рассуждает герой Чехова в рассказе „Страх“, — а страшна сама повседневная жизнь. Страшна тем, что здесь всё — непонятно, всё делается не по нашему, не так, как мы хотим. На этой идее построена одна из лучших пьес Чехова — „Три сестры“. В жизни есть какой-то неразгаданный икс; какие-то еще неведомые нам и не покоренные нами силы управляют человеком, как марионеткой.

С подобной стороны увидел жизнь и Тургенев. Его поэмы, пьесы и лирические новеллы—поэзия душевных кризисов и сердечных утрат.

Параша обманута „роком“. Недаром на Виктора и Парашу так насмешливо смотрел через забор сам сатана. Счастье оказалось недостижимым для героя и героини другой поэмы — „Андрей“. „Кто виноват?“ мог бы спросить Тургенев вместе с Герценом: Кто-то или что-то помешало счастью [2]). Даже „помещику“ неприятная случайность не дала насладиться тем пошленьким счастьем, о котором он мечтал. „Наша жизнь не от нас зависит“,—читаем в „Якове Пасынкове“ (1855). И так до конца идут у Тургенева несчастные герои и героини, несчастные развязки. Самая счастливая развязка в самом печальном романе „Дым“, а

---

[1]) А. Ф. Кони высоко ставит главу о Фимушке и Фомушке — „по отделке, цельности и жизненности“ (Памяти Тургенева. Изв. II Отд. Ак. Н. 1909, т. XIV, кн. 4, стр. 4).

[2]) Поэма „Андрей“ (1845) вообще напрашивается на сравнение с романомъ Герцена.

самый бодрый роман „Накануне“ кончается в тоне щемящей грусти. Базарова настигает смерть в самом начале его пути, и беспощадный отрицатель был не в силах отрицать смерть. Неведомые и неотвратимые силы вторгаются в жизнь человека („Собака“, „Стук... стук...“, „Песнь торжествующей любви“, „Сон“, „Клара Милич)“. Жизнь—„комедия с трагическими концом“, драма без развязки. Концепция жизни, как видим, пессимистическая или, по крайней мере, элегическая.

Оптимистом Тургенев никогда не был, даже в юности. Да и откуда было бы взяться этому оптимизму? [1]).

Питомец дворянского гнезда, Тургенев не мог наслаждаться его идиллическим покоем. Рано почувствовал он, что воздух усадьбы отравлен крепостничеством. Судьба грубо вытолкнула его из родной среды в гущу жизни. Его — плохо защищенного жизнестойкостью, непригодного для суровой борьбы. Психологически Тургенев — сродни своим слабым героям и часто разделял их судьбу [2]).

„Один, один, как всегда“, вырываются не раз тяжелые слова из груди Тургенева („Голуби“ 1879) [3]). Бесподобно изображая настроение людей одиноких, русских „перекати-поле“ (старик в „Разговоре“, Рудин, Лаврецкий, Литвинов, Нежданов и др.), Тургенев говорил как бы о самом себе: ему досталось сидеть на краю чужого гнезда и со стороны смотреть на чужое счастье, — выразился он однажды [4]). Этот

---

[1]) Отвечая на этот вопрос, я не останавливаюсь на литературных влияниях: они имѣют второстепенное значение. Хотя можно было бы вспомнить, напр., Кальдерона и Шопенгауэра. Последнего Тургенев в 60-х годах читал весьма усердно и рекомендовал Герцену читать его „поприлежней“.

[2]) О мягкости и даже слабохарактерности тургеневской натуры говорилось и писалось немало. Интересно, что, употребивши однажды выражение „видно такова моя судьба“, Тургенев тотчас же оговорился: „Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе „судьбу“; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед самими собою“ (письмо к гр. Ламберт от 10 июня 1856 г.).

[3]) Ср. стихотворение „Один, опять один я“ (1850).

[4]) Ср. в письме к Марко Вовчок от 1859 г. (Мин. Годы, 1908, авг., 77).

образ можно смело обобщить и сказать, что Тургенев и в личном и в общественном смысле обречен был сидеть на краю чужого гнезда. Родное дворянское гнездо было разорено. Строилась и притом с болезненными эксцессами новая жизнь. А Тургенев „из прекраснаго далёка“ с грустью и тревогой смотрел на родину. Изредка радуясь, но чаще печалясь, он был лишен физической и духовной оседлости. „Как хороши, как свежи были розы“ становится поэтическим рефреном ко всей его жизни.

Сердце, которое хотело тихо пульсировать в сладкой истоме, было смято в борьбе общественных страстей. Тургенев не мог да и не желал уклоняться от участия в общей жизни. Он принял вызов судьбы. Находясь на грани двух культур, он болезненно ощущал, что в механизме русской и европейской жизни происходит какой-то разрыв частей, что перед ним совершается многоактная драма. Жизнь предстала пред ним как разрушение и борьба. „А в странное и смутное время мы живем“, писал Тургенев гр. Ламберт 16/28 февраля 1861 г.: „Приглядитесь к тому, что везде делается... Никогда разложение старого не происходило так быстро. А будет ли лучше новое — Бог весть!“ Подобные думы в сущности никогда не покидали его.

Личные и социальные переживания естественным образом сплетались с общефилософскими думами о жизни человеческой. Одно окрашивало другое.

В этом отношении чрезвычайно показательно свидетельство самого Тургенева в письме к гр. Ламберт от 1859 г. (стр. 63). „Мне не то, чтобъ скучно или грустно“, писал он, „но вот, что я чувствую теперь: страстное, непреодолимоо желание своего гнезда, своего *home*'а, вместе с сознанием невозможности осуществления моей мечты, — и в то же время присутствие постоянной мысли о тщете всего земного, о близости *чего-то*, что я назвать не умею. Слово: смерть, — одно не выражает вполне этого *чего-то*, — а потому

обращение к Богу — рядом с порывами на заповедные, зеленые луга.“ Но и этого мало. Ему больно и от того, что он сидит „с наполненным желудком в теплой и накуренной комнате“ и хнычет... „а сколько бедных...“ „Мне стыдно даже выговорить“, прибавляет Тургенев.

Очевидно, это „что-то“ есть неразрешенная тайна человеческой жизни, инстинктивный страх за нее и за себя, глубокое сознание неудовлетворенности. Загадочная Эллис (в „Призраках“) не является ли воплощением таинственного „что-то“?

В самых ранних произведениях Тургенева, начиная с поэмы „Стèно“ (1834), уже звучат скорбные мотивы, родственные байроновским и лермонтовским. Молодого поэта мучительно тревожат „тайны бытия“.

Что значит жизнь? что значит смерть? Тебя
Я, небо, вопрошаю, но молчишь
Ты, ясное, в величии холодном!

говорит его Стено. Картина тихого вечера вызывает в душе юноши „тревожное волненье“, и ему стало грустно от мысли, „что ни одно творенье не в силах знать о тайнах бытия“ (стих. „Вечер“, 1837). „Заметила ли ты“, спрашивал Тургенев друга своей весны (в стихотворении 1842),

Что в каждом дне есть миг глубокой, боязливой,
Почти внезапной тишины?
И в этой тишине есть что-то неземное,
Невыразимое... душа молчит и ждет:
Как будто в этот миг всё страстное, живое
О смерти вспомнит и замрет.

С философским раздумьем стоял молодой Тургенев перед загадкой жизни.

О жизни думал я, об Истине святой,
О всём, что на земле навек неразрешимо.

Я небо вопрошал... и тяжко было мне —
И вся душа моя пресытилась тоскою...
А звезды вечные спокойной чередою
Торжественно неслись в туманной вышине [1]).

Так определял себя Тургенев в посвящении к поэме „Разговор“ (1844).

И в период зрелости, в момент полного обладания своими духовными силами, Тургенев редко сохранял „ясный строй“ души.

Между „Рудиным“ и „Дворянским гнездом“ он пишет свою „Поездку в Полесье“ (1857), а самое яркое выражение его пессимизма находим в произведениях, появившихся в такое время, когда эпоха реформ стала заволакиваться туманом реакции, и когда в творческой душе Тургенева зрело содержание для „Дыма“ (1867). Это — „Призраки“ (1863) и „Довольно“ (1864).

Всматриваясь в мотивы его мировой скорби, мы видим, что она внушена ему не только созерцанием природы и жизни людей вообще, но в частности повседневной русской действительностью, вплоть до разверстания угодий и возни с крестьянами [2]). Великое и малое стоят здесь рядом и — не случайно. В малом, как и в великом — те же законы жизни.

Что же такое человеческая жизнь?

Всё живущее роковым образом зависит от физических, материальных потребностей. Любовь и голод — два могучих двигателя жизни. „Всё, что живет — движется, чтобы питаться, и питается, чтобы воспроизводить. Любовь и Голод — цель их одна: нужно, чтоб жизнь не прекращалась, — собственная и чужая — всё та же, всеобщая жизнь“ (стихотворение в прозе „Два брата“, 1878) [3]).

---

[1]) Вариант: „в надменной тишине“.

[2]) См. конец „Призраков“.

[3]) Любопытно отметить, что Людвиг Якобовский, автор труда „Die Anfänge der Poesie“ (Dresden, 1891), первичной стадией поэзии считает лирику голода и любви.

Жизнь — непрерывная борьба за существование.

В прошлом — „грубый, грозный Рим“, цезаревы легионы. И потом войны за войнами. Что это такое как не дарвиновское battle for life? Маленьким народам нет житья от большихъ хищников. Полно, понимают ли люди, что они рождены для свободы? „История доказывает нам противное“. Не спроста, не из лести перед сильными мира сего мудрый Гете сказал: „Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.“ (письмо к Виардо от 20 июля 1849 г.). Люди не ценят жизни, как таковой. Они убивают и казнят друг друга („Казнь Тропмана“ 1870). Тропман совершил зверское преступление. Теперь его казнят публично. Лошади, спокойно жевавшие овес перед воротами тюрьмы, казались „единственно невинными существами“ среди всех, собравшихся на казнь,— участников прямых или косвенных, — „беззаконно-гнусной комедии“ — „убиения нам подобного существа“. Толпа жадными глазами впивалась в позорное зрелище. „Страшно подумать о том, что тут гнездится“.

Эллис проносится с автором над Волгой, и на него повеяло ужасами разиновщины. Озверелый атаман кричал: „в топоры их, белоручек“. Жутко стало тому, кто сознавал себя „дворянином и землевладельцем“. Когда заговорят при нем о чьей-нибудь смерти, ему странным образом послышатся „пронзительно-чистые и острые звуки, звуки гармоники“.

Это ужасное видение будет долго тревожить Тургенева. Вспомним его опасения, высказанные Полонскому насчет спасских мужичков. Очевидно, под влиянием подобных мыслей, Тургеневу привиделся страшный сон („Конец света“, стихотворение в прозе, 1878 г.). Он где-то в России, в глуши, в деревенском доме. В одной комнате, без мебели, вместе с ним находится человек десять простых людей. Все настроены тревожно, тоскливо, как бы ожидая чего-то извне. Общее состояние подавленности усиливается боязливыми выкрикиваниями ребенка. Перед домом голая равнина,

над домом и кругом — однообразное серое небо, точно саван. Вдруг поляна перед домом куда-то провалилась, дом очутился на вершине страшной горы, а издали стали надвигаться какие-то небольшие, кругловатые бугорки. Они растут и превращаются в море; одна сплошная, чудовищная волна обхватывает небосклон. „Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Всё задрожало вокруг, а там, в этой налетающей громаде, — и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай!“ Конец земле! конец всему! Темнота... темнота вечная!

Уж не кошмарная ли это сцена народной революции?.. Воображение превращает ее в картину „конца света“, подобную байроновской „Тьме“ (между прочим переведенной на русский язык также Тургеневым еще в 1846 г.). Мотив гибели и смерти, частый в творчестве Тургенева, достигает гипнотизирующей мощи в последние годы его жизни.

Гибелью грозит человеку не только человек, но и природа. Это — постоянный и еще непобежденный его враг.

„Человек и природа“ — вот вечная антитеза, страшная для Тургенева потому, что, как поэт, он любил природу. Любить врага это — драма, непосильная для большинства. Многократно возвращался Тургенев к этой проблеме, с особенной болью, повидимому, ощущая ее в два крайние момента: в юности, когда сердце пылало огнем и ждало отзывной ласки, и в старости, когда иные уголки сердца начинали угасать и покрываться серым пеплом уныния.

Грозная и беспощадная природа владычествует над нами. Холера косит людей. Град в несколько минут уничтожает урожай целой деревни. Море, как разъяренное чудовище, топит корабли и человеческие жизни (как это бывает, напр., у берегов о. Уайта). Понтийские болота распространяют убийственные миазмы. Слепая стихия не хочет знать „человеческих слов“ —

добро, разум, справедливость. „Я не ведаю ни добра ни зла“, говорит она („Природа“, 1879): „Разум мне не закон — и что такое справедливость? — Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне всё равно.“ Природа не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного.

Прожив на свете сорок четыре года и оглянувшись в день своего рождения на прошедшее, Тургенев более всего удручен мыслью, что над ним всё время тяготели „какие-то вечные неизменные, но глухие и немые законы“, перед которыми „маленький писк сознания“ так же мало значит, как если бы на берегу невозвратно текущего океана лепетать: „я, я, я“. „Муха еще жужжит, а через мгновенье — тридцать, сорок лет тоже мгновенье — она уже жужжать не будет, а зажужжит та же муха, только с другим носом, — и так во веки веков. Брызги и пена реки времен!“ (письмо к гр. Ламберт от 28 окт. — 9 ноября 1862 г.).

Человек и дорогая ему свобода, еще столь юная, еще девочка, находятся в подчинении у неумолимых Necessitas (старухи) и Vis (женщины). Они толкают Libertas. Свобода хочет отстоять свою свободу, т. е. себя самое, но принуждена повиноваться.

Трудно бороться с царицей - судьбой. „Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба — и только на первых порах, мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою — не чувствуем ее черствой руки“.

В судьбе почти каждого человека,—доказывал Тургенев графине Ламберт (14 окт. 1859 г.),—есть что-то трагическое, часто закрытое от самого человека пошлой поверхностью жизни. Это трагическое — „либо свое, либо наложенное историей, развитием народа. И притом мы все осуждены на смерть... Какого еще хотеть трагического?“

Таинство смерти непостижимо для человека. „Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности

или необычайности. Одна религия может победить этот страх. Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, а у кого ее нет, тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это всё равно) отворачивать глаза... Неужели смерть есть ничто иное, как последнее отправление жизни? Я решительно не знаю, что думать, и только повторяю: „счастливы те, которые верят“ (письмо к гр. Ламберт, от 10/22 дек. 1861 г.). Одно—несомненно. От смерти не уйти. Смерть — „та сила, которой нет сопротивления, которой всё подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла—всё видит, всё знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом...“ „Ничтожество, ничтожество!“ вот крик боли, который невольно вырывается из груди человека.

Лишены смысла наши громкие слова: народность, право, свобода, человечество, искусство, красота. Глухонемая и слепорожденная сила всё истребляет. Мы творцы—на час. Мы живем в мгновении и для мгновения. Тянемся к небу, а сидим в грязи.

Жизнь это какая-то затяжная болезнь. „Всё, что мы называем философией, наукой, моралью, художеством, поэзией et cet. et cet.,—ничто иное как успокаивающие лекарства, des calmants, ou des palliatifs“ (письмо к гр. Ламберт от 19 июля 1861 г.).

Самое страшное в человеческой судьбе именно сознание собственного ничтожества. „Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна Гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна—и нищенски плоска.“ (Ср. чеховский „Страх“).

Париж и Петербург—квинтэссенция пошлой культуры. Воскресни Шекспир, и перед ним развернулась бы всё та же несложная картина: „то же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота,

грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страданья", — словом, „то же хлопотливое прыгание белки в том же старом, даже не подновленном колесе..."

Жалко смотреть на „весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха". Люди в тысячу раз ничтожнее мух. Их жизнь — „мелкая, однообразная возня", „забавная борьба с неизменяемым и неизбежным".

Вот какой трагический облик приняла жизнь в сознании Тургенева [1]). Душевная тревога переходит в подлинную мировую скорбь. Музыкальная душа художника жаждет стройной гармонии, а наталкивается на хаос; любит эстетический покой аполлоновской красоты, а видит вокруг себя бушевание дионисовской стихии. Потрясенный этим зрелищем, он не в состоянии уловить ритма в дисгармонии; ему не внятна „скрябинская" музыка тогдашней жизни. И во вселенной не нашел он разумной целесообразности. Никакая теодицея не оправдывала в его глазах существование зла. Не ощущал он и космического ритма.

С высоты строгой логики, точной науки или абсолютной веры нетрудно было бы осудить мрачную философию Тургенева. Так и поступил кн. В. Ф. Одоевский в своем известном „Недовольно" (хотя сердцем он разделял настроение Тургенева). Из тех же предпосылок о природе, человеке и жизни Одоевский построил иные умозаключения и, конечно, был прав. Но прав и Тургенев. Прав, как всякий художник. Ведь жизнь для него получает свои краски от того света, „который исходит из сердца человека". Погас этот

---

[1]) Характеристику тургеневского пессимизма дает А. М. Евлахов в статье „И. С. Тургенев—поэт мировой скорби" (Р. Бог. 1904, № 6). Ср. также у проф. Е. В. Петухова „О пессимизме И. С. Т." (Юрьев, 1897) и у А. А. Андреевой „Призраки", как исповедь Т-ва" (В. Евр. 1904, IX).

свет, поблекла и жизнь. Его философия жизни—философия сердца, сердца чуткого, но не стойкого, напуганного жизнью.

При одном настроении, рефлектирующая мысль усиленно работает в духе пессимизма и острой тоски; получается та философия жизни, с которой мы только что познакомились. В иные, к счастью, тоже нередкие моменты жизнь воспринимается непосредственно, без мучительного анализа, с окраской поэтических, светлых, хотя и грустных эмоций.

Вот характерные примеры.

В присутствии Эллис исторический Рим внушил Тургеневу ряд кошмарных образов. Но тот же Рим цезарей, несколькими годами ранее, когда наш писатель задумчиво бродил по его развалинам, навеял ему „какое-то эпическое чувство". И он писал графине Е. Е. Ламберт (22 дек. 1857 г. — 3 янв. 1858 г.): „Эта бессмертная красота кругом, и ничтожность всего земного и в самой ничтожности величие—что-то глубоко грустное и примиряющее, и поднимающее душу... Этого словами передать нельзя, но, раз ощутив, забыть, смешать с другим чувством нельзя. Впечатления эти музыкальны и лучше всего могли бы передаться музыкой" [1]. „Ничтожность" земного, таким образом, не ускользнула от мысли наблюдателя, но в самой ничтожности почувствовалось величие.

Или вот Тихвинский монастырь, куда временно уединилась графиня Ламберт зимой 1861 г. Здесь всё напоминает о „неподвижности смерти", но вместе с тем „всё, даже самые мелочи, принимает особенное значение, как-то особенно действует на душу". Самый стук башмаков по каменному полу корридора, когда монахиня идет в церковь, „ей говорит что-то... И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, не-

---

[1]) Ср. еще письмо к тому же лицу от 3/15 ноября 1857 г., стр. 15—16.

терпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть“ (8/20 янв. 1861 г.). Ощущение смерти растворяется в музыкальном чувстве высокого.

Человек может победить в себе смерть: подняться над жизнью, стать по ту сторону жизни. Тургенев знал подобное состояние духа. И описывает его в том же самом письме к гр. Ламберт. „Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему существом, но существом, сохранившим живую любовь к Добру и Красоте“. В этой любви уже нет ничего личного. „Возможность пережить в самом себе смерть самого себя есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот я умер, и всё-таки жив и даже быть может лучше стал и чище. Чего же еще?“

В такие минуты какая-то высокая мудрость осеняет художника. Смиряется „души тревога“; умолкает „пленной мысли раздраженье“. Поэт берет верх над рефлектирующим философом, и душа ритмически волнуется тихими эмоциями. Музыкальная стихия непосредственного чувства спасает идею жизни.

Свет, исходящий из сердца Тургенева, никогда не угасал окончательно. Даже в самые тяжелые минуты. Без лучей и без теплоты, но свет еще тлеет, — говорил Тургенев о себе в „Довольно“. Как в позабытой лампадке, которая продолжает теплиться красным огоньком в опустелой церкви среди угрюмого мрака. „И в сердце моем—теперь такой же свет и такой же мрак“.

Если жизнь прибавит в лампадку-сердце благодатного елея, огонек вспыхнет ярче; „нет“ и „да“ сольются в спокойном и светлом синтезе. Сам Тургенев хочет этого.

Что мирит его с жизнью? Сама жизнь, как таковая. Жизнь сама утверждает себя. Ибо вне жизни нет и

человека. Вместе с Мефистофелем Тургенев мог бы сказать: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum“.

На свете есть нечто получше „предсмертной икоты“. Живи, пока живется. Если уже нельзя ожидать, „что радость польется полной чашей“, то „она может еще окропить последние жизненные цветы“ (письмо от 6 янв. 1875 г.—25 дек. 1874 г. Щук. Сб. V, 468).

„Как пуст и вял, и ничтожен почти всякий прожитой день... И между тем человеку хочется существовать, он дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее“, — говорит Тургенев („Завтра! завтра!“ 1879). Надежды, конечно, обманывают. Но жизнь дорога теми своими мгновениями, когда человек чувствует полноту бытия, когда трепетно бьется сердце, когда напряжена, как струна, воля к жизни. Это имманентное ощущение жизни и есть высшая радость. Не нирвана, а могучие зовы жизни[1]).

Жизнь, как стихия стихий, разлита в космосе; всё существует по закону, который есть „жизнь“, — философствовал Тургенев в сороковых годах, развивая свои виталистические идеи.

С отрадой и упованием смотрит Тургенев на всякое проявление воли к жизни. Чем меньше ее было в нем самом, тем больше ценит он ее в других.

Высоко под облаками летит стая журавлей, победоносно рассекая пространство. Радостно видеть эту горячую, сильную жизнь, эту неуклонную волю. „И было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре“. Невольно подумалось: а много ли найдется людей таких, как эти птицы? („Призраки“). Даже храбрый воробей разогнал „грустные думы“ нашего пессимиста и вдохнул в него „отвагу, удаль, охоту к жизни“ („Мы еще повоюем!“, 1879).

---

[1]) Впрочем, и мотив нирваны прозвучал однажды в письме к гр. Ламберт (от 19 июля 1861 г.).

Человеческий гений борется со стихиями природы. Быть может, техника и промышленность освободят, наконец, род людской,—надеялся Тургенев. Поэтому,— говорил он в письме к Виардо от 25 дек. 1847 г.,— самые великие поэты нашего времени—американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и провести электрический телеграф через океан[1]). Даже „Дым" заканчивается призывом к бодрой работе на благо культуры.

Всех приветствует Тургенев, кто смело творит жизнь, кто способен на подвиг жизни,—начиная с декабриста „Разговора" и кончая девушкой „Порога"[2]). Какой поэзией и теплотой чувства овеяны те страницы Тургенева, где он говорит о молодежи, о „детях", идущих на смену отцам! Тургенев любил молодость, ее красивую отвагу, ее пылкий идеализм, и многое ей прощал. Он был убежден, что „стремления молодежи всегда бескорыстны и честны, и цели их остаются те же, только имена меняются". Вот почему он сознательно уважал ее правду, не отказываясь от своей, и всячески искал той почвы, на которой могла бы потухнуть рознь между поколениями. Советуя молодежи идти к своей цели „прямо, честно", без „напрасных увлечений", Тургенев категорически заявлял (в 1879 г.): „Сочувствую всем стремлениям молодежи". Горячо желал он „чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное, единодушное служение России", и, называя себя „человеком прошедшего, человеком 40-х годов, человеком ста-

---

[1]) Еще со студенческих лѣт с.-американская республика интере совала Тургенева своим демократизмом. См. воспоминания Бойезена 1873 г. в „Мин. Годах", 1908, авг., стр. 64. Об американских симпатиях Тургенева вообще—см. ibid, 64—67.

[2]) Поступок Софи (в „Странной истории" 1869), ушедшей за юродивым, кажется Тургеневу странным, но вызывает в нем удивление и даже уважение к девушке: „Я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек, пожертвовавших всем тому, что *оне* считали правдой, в чем *оне* видели свое призвание". Ср. также повесть „Отчаянный" (1881).

рым“, провозглашал тост „за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитие ее судеб“.

Молодость—синоним жизни. Жизнь можно олицетворять лишь в образе молодого существа, всего лучше в образе молодой женщины или девушки.

Как очаровательно это итальянское виденпе на Isola Bella! В комнате роскошного мраморного дворца, убранной в помпейяновском вкусе, среди греческих изваяний, этрусских ваз, редких растений и дорогих тканей—сидит молодая женщина за фортепьяно и дивным голосом поет итальянскую арию. Кругом—лазоревый блеск, красивая панорама гор, лесов, озера, запах померанцев и кипарисов. Всё говорило о бессмертной красоте, о спокойном, светлом счастье. Высокая нота, на которой оборвался голос певицы, чудесным образом перешла в перелив родной, русской песни, которая неслась уже с берегов большой реки вместе с запахом сена, дыма и конопли[1]).

„Жизнь и любовь и счастье“, как „прекрасные воспоминанья“, вставали в душе автора „Довольно“: они—„яснее небесной лазури, чище первого снега на горных высотах“. Вспомнилась весна на берегу одной из главных рек России, когда с сладостно потрясающей силой, „подобно цвету кактуса“, внезапно вспыхнул в нем образ любимой женщины. С тех пор этот образ сопровождает его на всех путях жизни: в барской усадьбе, в старом саду, освещенном последними лучами летнего солнца; в древнем соборе „в далекой, прекрасной стране“; в небольшой уютной комнатке за чтением хорошей книги; наконец, осенью в пустынном саду заброшенного дворца, „на берегу великой не русской речки“. „Красота, красота в самих нас, кругом, повсюду—это выше слов“, восклицает автор.

---

[1]) Не находя в себе сил „бороться и ломать деревья“, Тургенев чисто попушкински рад тому, что в нем „чувство к красоте не иссякло; благо можешь еще порадоваться ей, всплакнуть над стихом, над мелодией“ (письмо от 9 февр.—28 янв. 1865 г.; Щук. Сб. VIII, 367).

„Мы чувствовали оба, что лучше этих мгновений ничего в мире не бывало и не будет для нас“.

Экстаз любви—мощное напряжение чувства, полнота ощущения жизни. Любовь—поэтический миг в жизни человека, просвет в вечность.

С любовью может соперничать только одно состояние души, - когда она охвачена творческим порывом и, счастливая, реет в упоительном царстве красоты. Забыто всё земное и низменное. Душа трепещет, объятая небесным восторгом. Искусство—тленно, но творчество бессмертно. Великая даже радость быть только соучастником этого мгновения. Хочется задержать его и крикнуть: „Стой“!

Только что замолк голос вдохновенной певицы. И очарованный художник восклицает: „Вот она - открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! Другого бессмертия нет.—В это мгновение ты бессмертна.—Оно пройдет—и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело!—В это мгновение—ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного.—Это *твое* мгновение не́ кончится никогда.—Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности“! (Стихотворение в прозе „Стой“, 1879). Наслаждение искусством в его наиболее эмоциональной форме сливается с чувством любви к женщине[1]).

Это—эллинизм, просветленный романтическим идеализмом. Это—язык наших любомудров, язык Станкевича в его эскизе „Несколько мгновений из жизни графа Z“ или Гоголя в его этюде „Женщина“.

Как в юные годы, Тургенев снова в идеализме и красоте ищет тех „чистых наслаждений“, которыми украшается наша бедная жизнь. „Лишь есть одна возможность сказать мгновенью „Стой“: разбив оковы мысли, быть скованным—мечтой“, говорит современ-

---

[1]) „Стой“!—отклик на пение Виардо.

ный поэт (К. Д. Бальмонт). Так же думает и поступает Тургенев. Яков Пасынков, „последний из романтиков“ (повесть 1855 г.), в предсмертных грезах видит царство неземной красоты: „море... всё золотое, и по нем голубые острова, мраморные храмы, пальмы, фимиам“... Как бы по программе Пасынкова Тургенев пишет свое стихотворение в прозе 1878 г. „Лазурное царство“ (ср. и виденне на Isola Bella). Мы в царстве лазури, света, молодости и счастья. На красиво разубранной лодке с белым парусом под резвыми вымпелами едут они, несколько человек, молодых, веселых, счастливых. Кругом безбрежное, лазурное море с золотою рябью, а над головой такое же безбрежное, такое же лазурное море с ласковым солнцем. Быстро мчится лодка мимо волшебных островов с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. „Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно подымались радужные, длиннокрылые птицы“. „Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё кругом: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою— всё говорило о любви, о блаженной любви“ [1]).

Художник эпохи перелома, носивший в своей груди никогда не затихавшую грусть, жаждал „неувядаемого рая“, мечтал о красивой жизни. Золото в лазури. Красота, молодость, женщина, любовь, музыка... Музыка, непременно музыка...

Временами лучи лазурного царства прорезывают мглистую завесу жизни и золотят землю, как солнце, вдруг разорвавшее темные тучи. Временами из лазурного царства долетают сладкие звуки, как звуки неба, заглушающие „скучные песни земли“. Лазурное цар-

---

[1]) Вспоминается „золотой век“, который приснился Версилову („Подросток“ Достоевского). Параллель эта представляется мне чрезвычайно интересной.

ство это—музыка тургеневской души, лирический аккомпанимент его творчества. Напевные мечты несут с собою забвение мук и радость тихую.

> Кто услышал тайный ропот Вечности,
> Для того беззвучен мир земной,—
> Чья душа коснулась Бесконечности,
> Тот навек проникся тишиной.
> Перед ним виденья сокровенные,
> Вкруг него безбрежность светлых снов,
> Легче тучек, тихие, мгновенные,
> Легче грезы, музыка без слов[1]).

У Тургенева было свое „лазурное царство“, непохожее ни на толстовское царство Божие на земле, ни на трудовое царство социализма.

Тургенев—прекрасный цвет старой культуры и поэтическое раздумье над грядущим обновлением жизни.

---

[1]) Из стихотворения К. Д. Бальмонта „Прости“!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Изданія Т-ва „МІРЪ“.

Москва, Знаменка, 9.

Ю. И. Айхенвальдъ. А. С. Пушкинъ	5 р. — к.
М. Н. Покровскій. Очеркъ истор. русск. культуры. Ч. I.	7 „ 75 „
„ „ „ „ „ Ч. II.	6 „ 50 „
Д. А. Жариновъ, Н. М. Никольскій и С. И. Радцигъ. Культурно-историческій путеводитель по музею изящныхъ искусствъ имени Александра III въ Москвѣ.	2 „ — „
Дрентельнъ. Муз. изящн. искусствъ имени Александра III.	— „ 15 „
Проф. Р. Ю. Випперъ. Новая исторія. 7-е изд. *Печат.*	— „ — „
Проф. Д. Н. Егоровъ. Всеобщая исторія. *Печатается.*	— „ — „
К. О. Вейхельтъ, М. Н. Коваленскій, В. А. Петрушевскій и В. Я. Улановъ. Книга по русской исторіи для начальныхъ школъ	5 „ 50 „
Проф. П. Н. Сакулинъ. И. С. Тургеневъ	4 „ 30 „
Э. Тейхманъ. Наслѣдственность	1 „ 20 „
Его же. Половое и безполое размноженіе	1 „ 20 „
Д-ръ Е. А. Аркинъ. Учебникъ физіологіи	9 „ — „
Его же. Мозгъ и Душа. *Печатается.*	— „ — „
О. Рабесъ и Э. Левенгардтъ. Учебникъ біологіи	5 „ — „
Избранныя произведенія англійской литературы въ обработкѣ для школы и самообразованія:	
№ 1. Tales by Ruskin, Wilde a. Kipling	3 „ 30 „
№ 2. The Cricket on the Hearth by Dickens	3 „ 30 „
Полный англо-русскій словарь С. Г. Займовскаго	6 „ — „
К. Марксъ и Фр. Энгельсъ. Литературн. наслѣдство. Т. I.	5 „ 40 „
І. И. Аншелесъ. Пропорціональные выборы	— „ 35 „
Б. Бухвальдъ. Техника банковаго дѣла	7 „ 80 „
А. А. Покровскій. О выборѣ книгъ для общедоступной библіотеки	1 „ — „
А. К. Покровская. О работѣ въ дѣтскихъ и школьныхъ библіотекахъ. Съ приложеніемъ систематич. списка книгъ	1 „ 50 „
В. Я. Улановъ. Обзоръ популярной литературы по русской исторіи	1 „ 90 „
Э. Бэббитъ. Сказки далекой Индіи. 2-е изд. *Печатается*	— „ — „
Музеусъ. Нѣмецкія народ. сказ. Кн. I. 2-е изд. *Печат.*	— „ — „
„ „ „ „ „ II. „ „ „	— „ — „
Киплингъ. Маленькія сказки. 2-е изд. *Печатается*	— „ — „
М. Х. Свентицкая. Русскія народныя сказки. *Печат.*	— „ — „
Джекобсъ. Англійск. народн. сказки	— „ — „
К. А. Кунъ. Цыганскія сказки. *Печатается*	— „ — „

Тип. Акц. О-ва „МОСК. ИЗДАТЕЛЬСТВО“. Савеловск. п., д. 13.